



У И Л К И

КОЛЛИНЗ

МЕРТВАЯ КОМНАТА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Уильям Уилки Коллинз

Мертвая комната

«Издательство АСТ»

1856

УДК 821.111-82
ББК 84(4Вел)я44

Коллинз У.

Мертвая комната / У. Коллинз — «Издательство АСТ»,
1856 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-146251-2

В летнюю ночь 1829 года старинный особняк на побережье Корнуолла замер, прислушиваясь к последнему вздоху хозяйки — леди Тревертон, — покинувшей бренный мир и оставившей безутешного мужа, маленькую дочь Розамонду и множество вопросов без ответов. Что скрывала она ото всех до самой смерти и в чем сумела признаться только на смертном одре, продиктовав послание своей горничной Саре Лисон? Почему Сара не находит смелости отнести письмо своему господину, а прячет его в одной из заброшенных комнат и тут же покидает дом? И почему через шестнадцать лет она пытается помешать Розамонде вернуться в дом детства и войти в комнату? В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-82
ББК 84(4Вел)я44

ISBN 978-5-17-146251-2

© Коллинз У., 1856
© Издательство АСТ, 1856

Содержание

Книга I	6
Глава I	6
Глава II	14
Глава III	17
Книга II	21
Глава I	21
Глава II	28
Глава III	35
Книга III	43
Глава I	43
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Уилки Коллинз

Мертвая комната

© ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *

Книга I

Глава I

23 августа 1829 года

– Интересно, переживет она эту ночь?

– Взгляни на часы, Мэттью.

– Десять минут первого. Пережила! Дождалась десяти минут нового дня.

Эти слова были произнесены на кухне большого сельского дома, на западном побережье Корнуолла. Собеседники были слугами капитана Тревертона, флотского офицера и представителя одной из старинных фамилий. Оба говорили шепотом, подсев поближе друг к другу, и выжидательно поглядывали на дверь.

– Ужас какой, – проговорил старший из них. – Сидим одни, в темноте, и считаем минуты, которые осталось жить нашей хозяйке.

– Роберт, – сказал другой еле слышно, – ты же служишь здесь с детства, слышал когда-нибудь, что до замужества она была актрисой?

– А ты почему знаешь? – резко спросил старый слуга.

– Тише! – перебил другой, поспешно вставая со стула.

В коридоре прозвенел колокольчик.

– Нас, что ли? – спросил Мэттью.

– Все еще не знаешь по звуку, который звенит? – презрительно ответил Роберт. – Это колокольчик Сары Лисон. Выйди и посмотри.

Младший слуга послушался и встал, взяв свечку. Отворив кухонную дверь, он посмотрел на длинный ряд колокольчиков на противоположной стене. Над каждым из них аккуратными черными литерами было написано имя слуги. Ряд начинался дворецким и экономкой, а заканчивался кухаркой и рассыльным.

Мэттью сразу заметил, что один из них был еще в движении, над ним было написано: Горничная хозяйки. Он быстро прошел по коридору и постучал в старомодную дубовую дверь. Не получив ответа, он открыл дверь и заглянул в комнату. Там было темно и пусто.

– Сары нет в кастелянской, – сказал он, вернувшись на кухню.

– Стало быть, она ушла в свою комнату, – ответил Роберт. – Иди наверх и скажи ей, что ее зовет хозяйка.

Колокольчик зазвонил снова, когда Мэттью выходил из кухни.

– Скорее! Скорее! – крикнул Роберт. – Скажи ей, чтобы поторопилась, что ее зовут! – А потом он тихонько прибавил: – Зовут и, может быть, в последний раз...

Мэттью поднялся на три лестничных пролета, прошел полпути по длинной арочной галерее и постучал в еще одну старомодную дубовую дверь. На этот раз ему ответили. Приятный и мягкий голос изнутри комнаты поинтересовался, кто пришел. В нескольких торопливых словах Мэттью рассказал о поручении. Не успел он договорить, дверь тихо и быстро отворилась, и на пороге перед ним предстала Сара Лисон со свечой в руке.

Невысокая, не очень красивая, не первой молодости, застенчивая и нерешительная в манерах, одетая крайне просто, горничная леди, несмотря на все эти недостатки, была женщиной, на которую невозможно было смотреть без любопытства, и даже интереса. При первом взгляде на нее немногие могли бы удержаться от желания узнать, кто она такая. И мало кто удовлетворился бы ответом: «Она горничная мистрис Тревертон». Немногие удержались бы от попытки прочесть на ее лице какую-то тайну, и, конечно, никто не усомнился бы, что эта

женщина прошла через испытание каким-то великим страданием. В ее осанке, и еще более в ее лице, все как будто говорило жалобно и грустно: «Я обломок того, чем вы некогда могли бы любоваться. Обломок, который никогда не будет восстановлен, который обречен дрейфовать по жизни незамеченным, неуправляемым, неостановленным – дрейфовать до тех пор, пока не коснется рокового берега, и волны времени не поглотят его навсегда». Вот что можно было прочесть на лице Сары Лисон – и ничего более.

Едва ли найдутся два человека, согласные в мнениях насчет Сары, – до того трудно было решить, телесная или душевная мука сразила ее. Но какова бы ни была природа перенесенного ей несчастья, следы, оставленные им, были заметны явно и поразительно. Щеки Сары потеряли округлость и естественный цвет, подвижные, изящно очерченные ее губы болезненно побледнели; большие черные глаза с необыкновенно густыми ресницами, приобрели тревожный испуганный взгляд, который никогда не покидал их и который жалобно выражал болезненную остроту ее чувствительности и врожденную робость ее нрава. Впрочем, большинство страданий душевных и тяжелая болезнь оставляют на людях почти одинаковые следы. Единственная особенность неведомого недуга Сары состояла в противоестественной перемене цвета ее волос. Они были такими же густыми и мягкими, лежали так же изящно, как волосы молодой девушки, но стали седыми, как у старухи. Странно противоречили они всем признакам юности, присущим ее лицу. Несмотря на всю болезненность и бледность, глядя на нее, никто не мог бы сказать, что это лицо старухи. На бледных щеках не было ни морщинки. Глаза, пусть тревожные и робкие, искрились и светились – чего никогда не увидишь в глазах стариков. Кожа на висках была гладкая, как у ребенка. Никогда не обманывающие признаки свидетельствовали, что она все еще была в самом расцвете лет. Больная и убитая горем, она выглядела как женщина, едва достигшая тридцати лет. Но седые волосы были просто не сочетаемы с ее лицом – она более бы походила сама на себя, будь они окрашены. В ее случае искусственное казалось бы правдой, потому что природное выглядело как фальшь.

Каким морозом побило эти роскошные кудри? Смертный недуг или смертное горе подернули их инеем? Этот вопрос часто волновал остальных слуг, пораженных странностью ее наружности, да еще ее привычкой разговаривать сама с собой. Однако как бы они ни желали, их любопытство всегда оставалось неудовлетворенным. Ничего больше не удалось им выяснить, кроме того, что Сара Лисон была, мягко говоря, чувствительна к разговорам о своих седых волосах. Хозяйка ее запретила всем, начиная с мужа, нарушать спокойствие служанки любопытными вопросами.

В то знаменательное утро двадцать третьего августа Сара на мгновение потеряла дар речи, стоя перед слугой, вызвавшим ее к смертному одру хозяйки, и пламя свечи ярко отразилось в ее больших испуганных черных глазах и пышных неестественно седых волосах. Мгновение она стояла молча; ее рука дрожала так, что подсвечник непрерывно дребезжал. Потом Сара опомнилась и поблагодарила слугу. Беспокойство, страх и торопливость, звучавшие в ее голосе, кажется, только добавили ему изящества, благородства и женственной сдержанности.

Мэттью, который, как и другие слуги, втайне не доверял и недолюбливал Сару, отличавшуюся от прочих горничных, был настолько покорен ее манерами и тоном, что предложил донести свечу до двери спальни ее хозяйки. Горничная покачала головой, поблагодарила его еще раз и быстро пошла по коридору.

Спальня умирающей мистрис Тревертон была этажом ниже. Сара в нерешимости оставалась перед дверью, но наконец постучалась, и дверь отворил капитан Тревертон.

Взглянув на своего господина, Сара отпрянула. Даже опасаясь удара, она вряд ли смогла бы отступить также быстро, и вряд ли ужас на ее лице мог быть более выразительным. Впрочем, в капитане Тревертоне не было ничего такого, что могло бы вызвать подозрение в жестоком обращении или даже грубости. С первого взгляда можно было смело сказать, что этот человек

ласков, сердечен и откровенен. На глазах его блеснули слезы, вызванные страданиями любимой жены.

– Входи, – сказал он отворачиваясь. – Она не хочет, чтобы приходила сиделка, ей нужна только ты. Позови меня, если доктор... – Голос его сорвался, и он поспешно вышел, не закончив фразу.

Вместо того чтобы войти в комнату госпожи, Сара Лисон обернулась и внимательно посмотрела вслед хозяину. Ее и без того бледные щеки стали смертельно белыми, в глазах застыл страх, сомнение и вопросительный ужас. Когда капитан скрылся за поворотом галереи, Сара прислушалась, стоя у дверей спальни, и боязливо прошептала: «Неужели она ему сказала?» Потом отворила дверь, постояла мгновение на пороге, с видимым усилием восстановив самообладание, и вошла.

Спальня мистрис Тревертон – просторная комната – выходила окнами на западный фасад дома, и, стало быть, на море. Ночник, горевший у кровати, скорее подчеркивал тьму, сгущая ее в углах комнаты. Старинная кровать была завешана тяжелыми драпировками. В тусклом свете можно было разглядеть только самую большую мебель: шифоньеры, гардеробный шкаф, высокое трюмо, кресла с высокой спинкой и, наконец, бесформенную громаду кровати. Вся остальная обстановка была погружена во мрак. Через открытое окно – отворенное, чтобы впустить свежий воздух нового утра после сырости августовской ночи, – долетали в комнату монотонные, глухие и отдаленные всплески волн о песчаный берег. Всякий остальной шум смолк в этот первый час нового дня. Внутри комнаты слышно было только медленное, томительное дыхание умирающей женщины, доносившееся ужасно и отчетливо в его смертной хрупкости даже сквозь далекое громовое дыхание из лона вечного моря.

– Госпожа, – сказала Сара Лисон, подойдя к пологу кровати, но не одергивая его, – ваш супруг вышел из комнаты и оставил меня вместо себя.

– Свет! Больше света! – Смертельная слабость звучала в тоне, но вместе с ней и решимость, вдвойне заметная при сравнении с дрожащим голосом Сары. Сильная натура госпожи и слабый дух горничной проявлялись даже в этих немногих словах, произнесенных сквозь занавесь смертного ложа.

Сара дрожащей рукой зажгла две свечи, нерешительно поставила их на столик у кровати, переждала мгновение, с подозрительной робостью оглядываясь по сторонам, и потом приподняла полог.

Болезнь, от которой умирала мистрис Тревертон, была одним из самых страшных недугов, поражающих человеческий род, и преимущественно женщин: он подрывает жизнь, при этом не оставляя на лице больного признаков своего сокрушительного прогресса. Неопытный человек, взглянув на мистрис Тревертон в тот момент, как ее горничная откинула полог, вероятно, решил бы, что больная получила все облегчение, какое может только доставить человеческая наука. Следы болезни на ее лице и неизбежная перемена в изяществе и округлости его очертаний были едва заметны: так чудно сохранился его цвет, нежность и сияние девичьей красоты. На подушке покоилась голова, окаймленная богатым кружевом чепца и блестящими каштановыми волосами. Казалось, это лицо красивой женщины, выздоравливающей после легкой болезни или отдыхающей после переутомления. Даже Сара Лисон, не отходившая от госпожи на протяжении всей болезни, глядя на свою хозяйку, с трудом верила, что врата жизни закрылись за ней и что манящая рука смерти уже машет ей из могилы.

Несколько книг в бумажных обложках с отпечатками собачьих зубов лежало на покрывале. Мистрис Тревертон жестом приказала убрать их. Это были театральные пьесы, в некоторых местах подчеркнутые чернилами, с примечаниями на полях и отметками о появлении персонажей. Слуги, обсуждавшие на кухне занятие госпожи до замужества, не были обмануты ложным слухом: капитан, пережив первую пору юности, действительно взял себе жену с подмостков провинциального театра через два года после ее дебюта. Старые пьесы составляли

некогда всю ее драгоценную драматическую библиотеку, она сохранила к ним привязанность, и в последнее время болезни держала их рядом с собой.

Убрав книги, Сара вернулась к госпоже с выражением скорее ужаса и недоумения на лице, чем горя. Мистрис Тревертон подняла руку в знак того, что у нее есть еще одно распоряжение.

– Запри дверь, – сказала она все тем же слабым, но решительным голосом. – Запри дверь и не впускай никого, пока я не разрешу.

– Никого? – повторила робко Сара. – Даже доктора? Даже моего господина?

– Ни доктора, ни господина, – проговорила мистрис Тревертон, указывая на дверь. Рука ее была слаба, но даже в этом движении был приказ.

Сара заперла дверь, нерешительно вернулась к постели, и, испуганно глядя на хозяйку, вдруг наклонилась к ней и прошептала:

– Вы сказали моему господину?

– Нет. Я послала за ним с тем, чтобы сказать ему. Я изо всех сил пыталась произнести эти слова. Я столько думала, как мне лучше сказать ему об этом. Я так люблю, так нежно люблю его!.. И я бы сказала ему, если бы он не заговорил о ребенке. Сара! Он только и говорил, что о ребенке. Это заставило меня замолчать.

Сара, забыв о своем положении, что могло показаться необычным даже в глазах самой снисходительной хозяйки, откинулась на стуле, закрыла лицо дрожащими руками и простонала:

– О, что будет! Что теперь будет!

Взгляд мистрис Тревертон смягчился, когда она говорила о любви к мужу. Несколько минут она лежала молча, но учащенное, тяжелое дыхание и болезненно сведенные брови свидетельствовали о сильном волнении. С трудом повернула она голову к креслу, на котором сидела ее горничная, и сказала еле слышным голосом:

– Подай мне лекарство.

Сара встала, повинаясь инстинкту послушания, и смахнула слезы, которые быстро катились по ее щекам.

– Вам нужен доктор! Позвольте, я позову доктора.

– Нет! Лекарство! Дай мне лекарство!

– Какую из бутылочек? С опиумом или...

– Нет. Не с опиумом. Другую.

Сара взяла со столика склянку и, внимательно посмотрев на написанное на этикетке указание, заметила, что еще не время принимать это лекарство.

– Дай его мне!

– Ради бога, не просите! Подождите, умоляю вас! Доктор сказал, что это лекарство хуже, чем дурман, ежели часто его принимать.

Ясные серые глаза мистрис Тревертон вспыхнули; яркий румянец окрасил ее щеки; властная рука с усилием поднялась с покрывала, на котором она лежала.

– Откупорь бутылочку и подай, – сказала она. – Мне нужны силы. Неважно, умру я через час или через неделю. Дай ее сюда.

– Нет, подождите, – продолжала спорить Сара, хотя на самом деле уже сдалась под взглядом хозяйки, – тут осталось две дозы. Подождите, я принесу стакан.

Она снова пошла к столу. В тот же миг мистрис Тревертон поднесла бутылочку ко рту, и выпила все, что в ней было, и откинула ее прочь.

– Она убила себя! – вскрикнула Сара и в ужасе выбежала из комнаты.

– Стой! – произнес с постели голос еще решительнее, чем прежде. – Вернись и помоги мне сесть.

Сара взялась за ручку двери.

– Вернись! – повторила мистрис Тревертон. – Пока я жива, ты будешь меня слушать. Вернись. – Румянец ярче разливался по ее лицу и ярче блестели ее глаза.

Сара вернулась и дрожащими руками добавила еще одну подушку к многочисленным подушкам, которые поддерживали голову и плечи умирающей женщины. Мистрис Тревертон судорожно поправила соскользнувшее покрывало, натянув его до подбородка.

– Ты отперла дверь? – спросила она.

– Нет.

– Я запрещаю тебе подходить к ней и близко. Подай мне несессер, перо и чернила из бюро у окна.

Сара подошла к бюро и открыла его, но вдруг остановилась, словно ей в голову пришло какое-то внезапное подозрение, – она спросила, для чего нужны письменные принадлежности.

– Принеси их и увидишь.

Несессер и лист бумаги были положены на колени мистрис Тревертон; перо обмокнуто в чернила и передано ей в руки. С минуту она сидела неподвижно, закрыв глаза и тяжело дыша, потом принялась писать. Сара с тревогой заглянула ей через плечо и увидела, как перо медленно и слабо выводит первые два слова: «Моему мужу».

– О, нет! Нет! Ради бога, не пишите! – крикнула Сара и схватила хозяйку за руку, но тотчас же отпустила ее, заметив взгляд мистрис Тревертон.

Перо продолжало двигаться: медленно вывело целую строчку и остановилось; буквы последнего слова слились вместе.

– Не надо! – повторила Сара, падая на колени возле кровати. – Не пишите ему, ежели не смогли сказать вслух. Позвольте мне до конца скрывать то, что я так долго скрывала. Пусть тайна умрет с вами и со мной, и никогда не станет известна этому миру. Никогда, никогда, никогда!

– Тайна должна быть раскрыта, – ответила мистрис Тревертон. – Мой муж должен был давно ее узнать. Я пыталась рассказать ему, но храбрость подвела меня. И я не могу доверить тебе рассказать ему обо всем, когда меня не станет. Поэтому надо все записать. Но мое зрение притупилось, а руки ослабли. Возьми перо и пиши с моих слов.

Сара, вместо того чтобы повиноваться, спрятала лицо в покрывале и горько заплакала.

– Ты не разлучалась со мной со дня моего замужества, – продолжала мистрис Тревертон. – Ты была мне скорее подругой, чем служанкой. Неужели откажешь мне в последней просьбе? Безумная! Посмотри на меня! Послушай! Ты погибнешь, ежели откажешься взять перо. Пиши, или я не успокоюсь в своей могиле. Пиши, или я приду к тебе с того света.

Сара со слабым вскриком вскочила на ноги.

– У меня мурашки по коже от ваших слов! – прошептала она, глядя на госпожу с выражением суеверного ужаса.

В это самое мгновение лишняя доза возбуждательного лекарства начала действовать на мистрис Тревертон. Она беспокойно заметалась на подушке, продекламировала бессвязно несколько строчек одной из пьес и вдруг театральным жестом протянула горничной перо, устремив взгляд на воображаемую публику.

– Пиши! – крикнула она громким сценическим голосом. – Пиши! – И слабая рука поднялась в давно забытом театральном жесте.

Машинально сжав в пальцах перо, Сара, все с тем же выражением суеверного ужаса в глазах, ждала следующего приказа. Прошло несколько минут, прежде чем мистрис Тревертон заговорила снова. В ней оставалось еще довольно сознания, чтобы смутно осознавать эффект, который производило на нее лекарство, и противиться ему, пока оно окончательно не помutilo ее мыслей. Она попросила подать ей нюхательной соли и одеколон.

Смоченный одеколоном и приложенный ко лбу платок несколько прояснил ее разум. Взгляд снова стал спокойным и рассудительным, и она вновь приказала служанке писать,

немедленно начав диктовать тихим, но разборчивым и решительным голосом. Слезы все еще катились по щекам Сары; с губ срывались обрывки фраз, в которых слышалось странное смешение мольбы, ужаса и раскаяния; но она покорно выводила неровные строки, пока не исписала лист с двух сторон. Мистрис Тревертон сделала паузу, пробежала глазами написанное, и, взяв из рук Сары перо, подписала внизу листа свое имя. После этого усилия она больше не могла бороться с действием лекарства. Густой румянец снова окрасил ее щеки, и она заговорила торопливо и неуверенно, вложив перо в руки горничной.

– Подпиши! – крикнула она, слабо стуча рукой по покрывалу. – Подпиши: «Сара Лисон, свидетельница». Нет! «Соучастница». Возьми и свою ответственность, я не позволю переложить ее на меня. Подпиши, я настаиваю на этом! Подпиши, как сказано.

Сара повиновалась, и мистрис Тревертон, взяв бумагу, сказала все с тем же театрально-торжественным жестом:

– Когда я умру, ты передашь это своему господину и ответишь на все его вопросы так же правдиво, как на страшном суде.

Всплеснув руками, Сара впервые посмотрела на хозяйку пристальным взглядом и впервые заговорила с ней спокойным тоном:

– Если бы я только знала, что скоро умру, с какой радостью поменялась бы с вами.

– Обещай мне, что отдашь бумагу своему господину, – повторила мистрис Тревертон. – Обещай! Нет! Обещанию твоему я не поверю – мне нужна твоя клятва. Возьми Библию – Библию, которой пользовался священник, когда был здесь сегодня утром. Подай мне Библию, или я не упокоюсь в могиле. Подай ее или я приду к тебе с того света. – Она рассмеялась, повторив угрозу. – Да, да, Библию, что читал священник, – рассеянно продолжала мистрис Тревертон, когда книга была принесена. – Священник – бедный слабый человек – я напугала его, Сара! Он меня спросил: «Примирились ли вы со всеми?» А я ему сказала: «Со всеми, кроме одного...» Ты знаешь, Сара, о ком я.

– О брате капитана? Ох, не умирайте во вражде, с кем бы то ни было. Не умирайте во вражде даже с ним, – умоляла Сара.

– Священник тоже так сказал. – Взгляд мистрис Тревертон блуждал по комнате; а голос становился все более низким и сбивчивым. – Вы должны простить его, сказал мне священник. А я ему ответила: «Нет, прощу всех на свете, только не брата моего мужа». Священник испугался, Сара, и отошел от моей постели. Сказал, что будет за меня молиться и скоро вернется. Но вернется ли?

– Конечно, – ответила Сара, – он человек хороший и обязательно вернется. Скажите ему, что простили брата капитана. Дурные речи, которые он говорил о вас, рано или поздно вернутся к нему. Простите его! Простите его перед своей смертью!

Произнеся эти слова, Сара попыталась тихонько убрать Библию с глаз хозяйки. Но мистрис Тревертон заметила это движение, и угасающие силы вспыхнули в ней.

– Стой! – крикнула она, и в потухших глазах ее вновь вспыхнул отблеск прежней решимости. С усилием схватила она руку Сары и прижала ее к Библии. Другой рукой она водила по покрывалу, пока не нашла письмо, адресованное мужу. Пальцы ее судорожно сжали бумагу, и вздох облегчения слетел с губ.

– Ах, теперь я вспомнила, зачем мне нужна была Библия. Я умираю в полном сознании, Сара, и ты не сможешь обмануть меня. – Она помолчала, улыбнулась и прошептала: – Подожди! Подожди! Подожди! – и потом прибавила театральным тоном: – Нет! Обещанию твоему я не поверю – мне нужна твоя клятва. Встань на колени. Это мои последние слова на этом свете – ослушайся их, если осмелишься.

Сара опустила на колени возле постели. Ветерок на улице, усилившийся с приближением рассвета, проник сквозь оконные занавески и принес в комнату большой радостный сладкий аромат. Вместе с ним долетел и отдаленный шум прибоя. Потом занавески тяжело опусти-

лись, колеблющееся пламя свечи снова стало ровным, и мертвая тишина комнаты стала еще глубже, чем прежде.

– Поклянись! – сказала мистрис Тревертон. Голос ей изменил и пропал. Но, сделав над собой усилие, она продолжала: – Клянись, что не уничтожишь это письмо после моей смерти.

Даже в этих словах, даже во время последней борьбы за жизнь проявлялись ее театральные манеры, прочно сохранившие место в ее сознании и такие пугающе неуместные. Сара почувствовала, как холодная рука, лежавшая на ее руке, на мгновение приподнялась в драматическом жесте, снова опустилась и судорожно сжала ее ладонь. Сара робко ответила:

– Клянусь!

– Клянись, что не заберешь это письмо с собой, если покинешь дом после моей смерти!

Сара снова сделала паузу, прежде чем ответить, и почувствовала то же судорожноежатие, только слабее, и опять испуганно проговорила:

– Клянусь!

– Поклянись, – начала в третий раз мистрис Тревертон. Голос снова изменил ей, и на этот раз она тщетно силилась придать ему повелительный тон.

Сара подняла взгляд на хозяйку и заметила судороги на бледном лице, увидела, как скрючились пальцы белой, нежной руки, тянувшейся к лекарству.

– Вы все выпили! – воскликнула она, вскочив на ноги, когда поняла значение этого жеста. – Госпожа, дорогая госпожа, вы все выпили, остался только опиум. Позвольте мне позвать...

Взгляд мистрис Тревертон остановил Сару прежде, чем она успела договорить. Губы умирающей быстро шевелились. Горничная приложила к ним ухо. Сначала она не слышала ничего, кроме быстрых задыхающихся вдохов, а затем несколько отрывистых слов, которые путались между собой:

– Я не успела... Ты должна поклясться... Ближе, ближе, ближе ко мне... Поклянись третий раз... Твой господин... Поклянись отдать...

Последние слова затихли. Уста, которые так старательно их произносили, вдруг приоткрылись и больше не сомкнулись. Сара бросилась к двери, открыла ее и позвала на помощь, затем вернулась к кровати, схватила лист бумаги, на котором она писала под диктовку хозяйки, и спрятала его в корсет. Последний взгляд мистрис Тревертон с укором и строгостью устремился на нее, и сохранил свое выражение неизменным, несмотря на искажившиеся черты лица. Но в следующее мгновение тень смерти согнала с этого лица последний свет жизни.

В комнату вошел доктор, за ним сиделка и один из слуг. Доктор поспешил к постели, но с первого же взгляда догадался, что помощь его более не нужна. Сначала он обратился к слуге, который следовал за ним:

– Ступай к господину и попроси его подождать в кабинете, пока я не приду и не поговорю с ним.

Сара по-прежнему стояла у кровати, не двигаясь, не говоря и не замечая никого.

Сиделка подошла опустить полог и отступила при взгляде на лицо Сары.

– Я думаю, что этой особе лучше бы выйти из комнаты, сэр, – обратилась она к доктору с некоторым презрением в тоне и взгляде. – Она чересчур поражена произошедшим!

– Совершенно справедливо, – кивнул доктор. – Гораздо лучше ей удалиться. Позвольте мне порекомендовать вам покинуть нас на некоторое время, – прибавил он, тронув Сару за руку.

Она боязливо отшатнулась, прижала одну руку к груди, к тому месту, где лежало письмо, а другую руку протянула к свече.

– Вам лучше немного отдохнуть в своей комнате, – сказал доктор, протягивая Саре подсвечник. – Хотя постойте, – продолжал он, подумав немного. – Я собираюсь сообщить печальную новость вашему хозяину, и, возможно, он захочет услышать последние слова, которые

госпожа Тревертон могла произнести в вашем присутствии. Думаю, вам лучше пойти со мной и подождать, пока я переговорю с капитаном.

– Нет! Нет! Не сейчас, не сейчас, ради бога! – торопливо и жалобно шепча эти слова, Сара попятилась к двери и исчезла, не дожидаясь, пока с ней снова заговорят.

– Странная женщина, – сказал доктор, обращаясь к сиделке. – Ступайте за ней и посмотрите, куда она пошла. Может быть, нам придется посылать за ней. Я подожду вас здесь.

Когда сиделка вернулась, ей нечего было сообщить, кроме того, что она проследила за Сарой Лисон до ее спальни, видела, как та вошла в нее, и слышала, как заперли дверь.

– Странная женщина, – повторил доктор. – Одна из этих тихих и скрытных людей.

– Дурного сорта, – заметила сиделка. – Она всегда разговаривает сама с собой, и это плохой знак, на мой взгляд. Я не доверяла ей, сэр, с самого первого дня, как вошла в этот дом.

Глава II

Дитя

Сара Лисон повернула ключ в двери своей спальни и поспешно вынула листок из корсета, вздрогнув, будто одно прикосновение причинило ей боль. Она положила его на туалетный столик и устремила взгляд на начерченные строки. Сначала ониплыли и смешивались между собой. Сара на несколько минут закрыла глаза руками, а затем снова посмотрела на письмо.

Теперь буквы были четкими, яркими и, как показалось Саре, неестественно крупными. Сначала шло обращение: «Моему мужу», – потом первая строчка, написанная рукой ее умершей хозяйки; и все следующие строки, написанные собственной рукой Сары, и в конце две подписи. Несколько предложений, уместившихся на ничтожном клочке бумаги, который пламя свечи могло мгновенно обратить в пепел. Сара перечитывала слова снова и снова, но не дотрагивалась до листа, кроме того момента, когда следовало его перевернуть. Недвижно, молча, не отрывая глаз от бумаги, сидела Сара и, как преступник читает смертный приговор, так и она читала несколько строк, которые она и ее хозяйка написали вместе всего полчаса назад.

Секрет поразительного воздействия этого письма заключался не только в его содержании, но и в обстоятельствах, при которых оно было написано. Сара Лисон восприняла как священное и нерушимое обязательство клятву, которую мистрис Тревертон предложила под воздействием расстроенных чувств и сумбурных воспоминаний о сценических репликах. Вынужденное повиновение последней воле умирающей, загробная угроза, произнесенная в насмешку над суеверными страхами служанки, произвела тяжелое впечатление на робкую душу Сары, как приговор, который может обрушиться на нее, зримо и неумолимо, в любое грядущее мгновение.

Наконец она несколько опомнилась, отодвинула от себя письмо и поднялась, на мгновение замерла и оглянулась кругом, всматриваясь в пустую темноту в дальних углах комнаты.

Старая ее привычка говорить сама с собой вступила в свои права, и Сара быстро зашагала по комнате взад и вперед, то вдоль, то поперек, беспрестанно повторяя отрывистые фразы:

– Как я могу отдать ему письмо? Такой хороший господин, так добр ко всем нам. Зачем она умерла и оставила все на моей совести! Мне одной это не под силу.

Говоря эти слова, Сара машинально прибирала в комнате, хотя в ней и так все было в надлежащем порядке. Весь ее вид, все ее действия свидетельствовали о тщетной борьбе слабого ума с тяжелой ответственностью. Она переставила на камине фарфоровые безделушки; десяток раз переложила подушечку для булавок то на трюмо, то на стол, десяток раз передвинула на умывальнике кувшин и мыльницу. Несмотря на всю бессмысленность этих движений, природное изящество, ловкость и чопорная аккуратность проявлялись в ней в эти минуты, как и всегда. Она ничего не уронила, ничего не задела, шаги ее были беззвучны; одежда была в таком порядке и приличии, будто был белый день, и на нее смотрели все соседи.

Время от времени смысл слов, которые она бормотала, менялся. Сперва это были осознанные фразы, но потом они вновь увлекли ее к туалетному столику и письму. Она прочла вслух:

– Моему мужу. – Затем резко схватила письмо и уверенно сказала: – И зачем мне отдавать ему это письмо? Почему бы этой тайне не умереть вместе с ней и со мной! Зачем ему знать эту тайну? Не нужно!

Произнеся последние слова, она поднесла письмо к зажженной свече. В это мгновение белая занавеска на окне заколыхалась – свежий ветерок проник сквозь старинные, плохо прилегающие створки. Заметив это, Сара обеими руками прижала письмо к груди и отпрянула к стене. Полный ужаса взгляд ее был прикован к занавеске. Такой же взгляд был у нее, когда мистрис Тревертон угрожала потребовать повиновения и из другого мира.

– Что-то движется, – задыхаясь, прошептала она. – Что-то движется по комнате.

Занавеска еще раз медленно всколыхнулась. Пристально глядя на нее через плечо, Сара прокралась вдоль стены к двери.

– Неужели вы уже пришли ко мне? – проговорила она, не отрывая взгляд от окна, пока ее рука нащупывала ключ в замке. – Еще и гроб не сколочен, и могила не вырыта, и тело не остыло!

Она отворила дверь и проскользнула в коридор, остановилась на мгновение и снова оглядела комнату.

– Успокойтесь! – сказала она. – Успокойтесь, мистрис, он получит письмо.

Она прошла по коридору, торопливо спустилась по ступенькам, словно не давая себе шанса одуматься, и через минуту-другую добралась до кабинета капитана Тревертона на первом этаже. Дверь была открыта, а комната пуста.

Подумав немного, Сара зажгла одну из свечей, стоявших на столике в холле, от светильника в кабинете и поднялась по лестнице в спальню хозяина. Постучав несколько раз и не получив ответа, она решилась войти. Постель была не тронута, свечи не зажжены, и, по-видимому, в комнату никто не входил в эту ночь.

Оставалось только одно место: комната, где лежало тело его покойной жены. Сможет ли она набраться смелости и отдать ему письмо прямо там? Она колебалась, но все же прошептала:

– Я должна! Я должна!

И вновь она пошла вниз по лестнице. На этот раз она спускалась очень медленно, осторожно держась за перила и почти на каждом шагу останавливаясь, чтобы перевести дух. Как только она постучала в дверь спальни мистрис Тревертон, ее тут же открыла сиделка, грубо и с подозрением поинтересовавшаяся, что ей нужно.

– Мне нужно поговорить с капитаном.

– Ищите его где-то в другом месте. Здесь он был полчаса тому назад и ушел.

– Вы не знаете куда?

– Не знаю. Я в чужие дела не вмешиваюсь, своих довольно.

С этим невежливым ответом сиделка захлопнула дверь. Взгляд Сары упал на противоположный конец коридора: там была дверь в детскую. Она была приоткрыта, и в щель пробивался тусклый свет свечи.

Сара сразу же вошла внутрь и увидела, что свет исходит из второй комнаты, которую обычно занимали няня и единственный ребенок в доме Тревертонов – маленькая девочка по имени Розамонда, которой на тот момент было около пяти лет.

– Неужели он здесь? В этой комнате, из всех комнат в доме!

При этой мысли Сара торопливо спрятала на груди письмо, которое до тех пор держала в руке, – точно так же, как в первый раз, когда покидала комнату своей госпожи.

На цыпочках она прокралась к входу в комнату – в угоду ребенку он был сделан в виде арки и раскрашен в яркие цвета, чтобы напоминать вход в летний домик. Две красивые ситцевые занавески служили единственным барьером между игровой и спальней.

Первым делом она заметила няньку, задремавшую в кресле подле окна. Тогда Сара смелее заглянула внутрь и увидела хозяина, сидящего спиной к ней у детской кровати. Маленькая Розамонда не спала, а стояла на кровати, обхватив шею отца. В одной ее руке был кукла, которую она взяла с собой в постель. Похоже, незадолго до этого она горько плакала, но уже совсем выбилась из сил, так что лишь время от времени слегка всхлипывала, устало положив голову на грудь отца.

Крупные слезы навернулись на глаза Сары, когда она увидела своего хозяина и ручки, обвившие его шею. Она замерла, несмотря на то, что в любой момент ее могли заметить. Сара услышала нежные слова, обращенные к ребенку:

– Тише, милая Роза, тише любимая! Перестань плакать по бедной маме. Подумай о бедном папе, постарайся утешить его.

Как ни были просты эти слова, как тихо и нежно ни были они сказаны, но, услышав их, Сара Лисон едва смогла совладать с собой. Не заботясь, заметят ее или нет, она бросилась в коридор, словно спасаясь бегством. Забыв об оставленной свече, даже не взглянув на нее, Сара сбежала по лестнице в кухню. Там ее встретил один из слуг и с удивлением и тревогой спросил, что случилось.

– Мне плохо... Слабость... Мне нужен свежий воздух, – ответила она несвязно и сбивчиво. – Отворите мне дверь в сад и выпустите меня.

Мужчина повиновался, но неохотно, будто считал, что ей не следует доверять самой себе.

– Сегодня она еще чуднее, – сказал он своим товарищам после того, как Сара поспешно вышла на улицу. – Полагаю, теперь, когда наша госпожа умерла, ей придется искать другое место. И сердце мое после ее ухода точно не будет разбито. А вы что скажете?

Глава III

Соккрытие тайны

Прохладный, сладкий воздух сада, обдувавший лицо Сары, казалось, успокоил ее волнение. Она свернула на боковую дорожку в сторону террасы, с которой открывался вид на церковь в соседней деревне. На дворе уже брезжил рассвет. На востоке, над черной полосой болот разливался тихий полусвет, предвестник восхода. Силуэт старинной церкви за живой изгородью из мирта и фуксии, растущей вокруг маленького кладбища, светлел на глазах, почти так же быстро, как утреннее небо. Сара в изнеможении оперлась рукой на спинку садового кресла и повернулась лицом к церкви. Ее взор перенесся от куполов на кладбище, остановился на нем, наблюдая, как разгорается свет над одиноким убежищем мертвых.

– Ох, мое сердце, мое сердце! Отчего ты до сих пор не разбилось?

Она еще некоторое время стояла, грустно глядя на церковный двор и размышляя над словами, которые капитан Тревертон сказал дочери. Ей казалось, что они, как и всё остальное, связаны с письмом, написанным на смертном одре мистрис Тревертон. Она снова достала письмо и гневно сжала его в пальцах.

– Все еще в моих руках! Еще никто не видел его! – сказала она, глядя на смятый листок. – Но моя ли это вина? Если бы она была жива, если бы видела, что видела я, если бы слышала, что я услышала в детской, могла бы она ожидать, что я отдам ему письмо?

Она задумчиво отошла от кресла, пересекла террасу, спустилась по деревянным ступеням и пошла по извилистой дорожке, проложенной от восточной части дома к северной. Эта часть здания была необитаема и заброшена более чем полвека. При жизни отца капитана Тревертона из северных комнат были вынесены лучшие картины и ценная мебель для переделки западных комнат, оставшихся единственно обитаемыми, – их было вполне достаточно для проживания семьи и гостей. Первоначально особняк был выстроен в форме квадрата и был хорошо укреплен. Теперь от прежних оборонительных сооружений сохранилась только приземистая башня на южной оконечности западного фасада. По ней и по соседней деревне дом назывался Портдженнской Башней. Южная сторона состояла из конюшен и хозяйственных построек, перед ними возвышалась разрушенная стена, которая под прямым углом уходила на восток и соединялась с северной стороной, завершая квадрат, который представлял собой весь контур здания.

По виду, открывавшемуся из дикого и запущенного сада на северные комнаты, было сразу понятно, что прошло много лет с тех пор, как в них жили люди. Окна кое-где были разбиты, кое-где покрыты слоем грязи и пыли. Одни ставни заперты, другие приоткрыты. Неужоженный плющ и мох, растущие в трещинах каменной кладки, гирлянды паутины, обломки дерева, кирпичи, штукатурка, битое стекло, лохмотья ткани, лежавшие под окнами, – все говорило о запустении. Стоящая в тени и заброшенная, эта сторона дома имела вид мрачный и холодный даже в солнечное августовское утро, когда Сара Лисон вошла в запустелый сад. Потерявшись в лабиринте собственных мыслей, она медленно шла мимо давно пустых клумб по гравийным дорожкам, заросшим сорняками.

Потрясение, которое вызвали в ее сознании слова капитана, подслушанные в детской, на удивление помогло ей собраться и решиться на последний отчаянный поступок. Идя все медленнее и медленнее по дорожкам забытого сада, более и более отрешенная, Сара вдруг остановилась на когда-то ухоженной лужайке, с которой по-прежнему открывался вид на длинный ряд необитаемых северных комнат.

– Что обязывает меня отдать письмо господину? – размышляла она, разглаживая скомканный лист. – Моя госпожа умерла и не успела услышать мою клятву. Неужели она будет меня

тревожить с того света, ежели я сдержу только произнесенные обещания и не более? Я свято исполнила все, в чем поклялась. Могу ли я более не рисковать?

Сара задумалась. Суеверный страх преследовал ее белым днем и под открытым небом, точно так же, как и в комнате во мраке ночи. Еще раз посмотрела она на письмо, еще раз припомнила каждое слово клятвы, данной ей мистрис Тревертон. Что она на самом деле обязалась сделать? Не уничтожать письмо и не забирать его с собой, если она покинет дом. Кроме того, мистрис Тревертон хотела, чтобы письмо было передано ее мужу. Но клялась ли она исполнить эту последнюю просьбу? Нет.

Придя к такому выводу, Сара еще раз взглянула на дом. Сперва она безучастно смотрела на пустынный северный фасад дома, но тут ее внимание привлекло окно, расположенное точно посередине стены – самое большое и самое мрачное из всего ряда. В глазах Сары вспыхнула внезапная мысль; слабый румянец залил ее щеки, и она поспешно подошла к дому. Стекла большого окна пожелтели от пыли и покрылись фантастическим узором из паутины. Под ним лежала куча мусора на остатках то ли цветов, то ли куста. Очертания клумбы были еще заметны по ободку из травы и дерна. Сара нерешительно обошла ее кругом, на каждом шагу поглядывая на окно. Наконец остановилась под ним, поглядела на письмо в руках и резко сказала:

– Рискну!

Как только эти слова сорвались с ее губ, она поспешила обратно в жилую часть дома, через кухню в комнату экономки, и сняла со стенки связку ключей с широким ярлыком из слоновой кости, на котором было написано: «Ключи от северных комнат».

Сара положила ключи на письменный столик, взяла перо и на обороте письма, написанного под диктовку покойницы, прибавила следующие строки:

Ежели эта бумага когда-либо будет найдена (молюсь всем сердцем, чтобы этого никогда не случилось), да будет известно, что я решилась скрыть ее, потому что не осмеливаюсь показать ее содержанию моему господину, которому она адресована. Поступая так, я действую против последней воли моей госпожи, но не нарушаю клятвы, данной ей на смертном одре. Эта клятва запрещает мне уничтожить письмо или унести его с собой, если я оставляю дом. Я не делаю ни того ни другого. Моя цель – спрятать его в таком месте, где, как мне кажется, меньше всего шансов, что его снова найдут. Все трудности или несчастья, которые могут последовать в результате этого обманного поступка, лягут только на меня. Другие, я искренне верю, будут счастливее оттого, что я скрыла страшную тайну, которую содержит это письмо.

Она подписала свое имя под этими строками, поспешно придавила промокательную бумагу, лежавшую на столе вместе с прочими письменными принадлежностями, потом сложила листок, схватила ключи и, озираясь, словно боялась, что за ней подсматривают, вышла из комнаты. Все ее движения, с тех пор как она вошла в эту комнату, были торопливы и порывисты – она боялась дать себе хоть единую минуту на размышления.

Выйдя из комнаты экономки, она поднялась по черной лестнице и отперла дверь на самом верху. Взвилось облако пыли. Заплесневелая прохлада заставила ее вздрогнуть, когда она пересекла большой каменный холл, где на стенах висело несколько черных старинных семейных портретов, холсты которых выпадали из рам. Поднявшись еще по лестнице, она дошла до длинного ряда дверей на втором этаже северной стороны дома.

Она опустила на колени возле одной из дверей, положила письмо рядом с собой, заглянула в замочную скважину и начала подбирать ключ. Это было нелегкое дело: волнение было так сильно, что она еле-еле могла отделять один ключ от другого. Наконец ей удалось открыть дверь. Сухой, удушливый воздух окутал ее, когда она наклонилась за письмом. Она отшатнулась и попятилась было к лестнице. Но решимость возвратилась к ней мгновенно.

– Теперь я не могу уйти! – сказала она и вошла в комнату.

Сара оставалась там не более трех минут. Когда она вышла, лицо ее было белым от страха, а в руке, в которой она держала письмо, больше ничего не было, кроме маленького ржавого ключа.

Заперев дверь, она внимательно осмотрела большую связку ключей. Кроме ярлычка из слоновой кости, прикрепленного к кольцу, к связке было привязано еще несколько клочков пергамента с названиями комнат. И у ее ключа была такая бирка. Сара повернулась к свету и прочла потускневшую от времени надпись: *Миртовая комната*.

Стало быть, комната, в которой она спрятала письмо, имела название! Красиво звучащее название, на которое многие могли обратить внимание и запомнить. Этому названию она должна опасаться после своего поступка.

Сара достала из кармана передника ножницы и отрезала бирку. Но достаточно ли этого? Она запуталась в бесполезных мыслях и в конце концов отрезала и другие бирки. Аккуратно подобрав кусочки пергамента с пола, она положила их вместе с ключом от Миртовой комнаты в карман передника. Неся в руке связку ключей и тщательно запирая двери, которые она открывала по пути на северную часть дома, Сара вошла в комнату экономки и, не застав там никого, повесила ключи на прежнее место.

Опасаясь встретиться с кем-нибудь из служанок, так как день начинал уже заниматься, Сара поспешила в свою спальню. Свеча, которую она там оставила, все еще слабо горела в раннем утреннем свете. Когда Сара погасила свечу и откинула занавеску, тень недавнего страха пробежала по ее лицу даже под лучами солнца. Она открыла окно и выглянула наружу, жадно вдыхая прохладный воздух.

К добру или к худу, но роковая тайна сокрыта – дело сделано. В первом осознании этого факта было что-то успокаивающее: теперь она могла спокойно подумать о себе и о том неопределенном будущем, которое лежало перед ней. Ни при каких обстоятельствах она не могла рассчитывать остаться в своем положении теперь, когда связь между ней и ее хозяйкой была разорвана смертью. Она знала, что мистрис Тревертон в последние дни болезни убедительно рекомендовала свою служанку капитану, и была уверена, что последние просьбы жены в этом, как и во всех других случаях, будут рассматриваться мужем как самые священные обязательства. Но могла ли она принять защиту и доброту от хозяина, которого она обманывала и которого обязалась обманывать и дальше? Мысль о таком низком поступке была до того возмутительна, что Сара почти с облегчением приняла единственную печальную альтернативу – немедленно покинуть дом. Но как его оставить? Формальный отказ непременно повлечет за собой затруднительные и страшные вопросы. Могла ли она встретиться лицом к лицу с хозяином после того, что она сделала, встретиться с ним, зная, что первый вопрос его будет о хозяйке, что он будет спрашивать о последних скорбных подробностях, о малейшем слове, произнесенном во время сцены смерти, свидетелем которой была она одна? Опустив глаза в пол, Сара раздумывала о последствиях такой невыносимой пытки и вдруг сняла с вешалки плащ, боязливо прислушиваясь. Кажется, слышны чьи-то шаги? Неужели хозяин уже послал за ней? Нет, все было тихо. Несколько слезинок скатились по ее щекам, когда она надевала шляпку: она смутно чувствовала, что это простое действие – последний, и, возможно, самый тяжелый шаг. Отступать было нельзя. Ей оставалось или жить в вечном страхе, или выдержать двойное испытание: покинуть Портдженнскую Башню – и покинуть ее тайно.

Тайно, как вор? Не сказав ни слова хозяину, не написав ему ни одной строки, чтобы поблагодарить его за доброту и попросить прощения? «А что если, – подумала она, – я оставлю здесь письмо, чтобы его нашли после моего ухода из дома?» Поразмыслив немного, она утвердительно кивнула и так быстро, как только успевало перо, написала несколько строчек капитану Тревертону, в которых признавалась, что скрыла от него тайну, которую ей было поручено рассказать, но добавила, что по чести и по совести полагает, что не нанесла ни ему, ни кому-либо из его близких вреда, не исполнив своего обязательства. Письмо свое она закончила

просьбой о прощении в том, что тайно покинула дом, умоляя о последней милости – чтобы ее никогда не искали. Запечатав и оставив на столе эту записку на имя хозяина, Сара еще раз прислушалась, стоя у двери, и, убедившись, что никто ей не помешает, в последний раз спустилась по лестнице Портдженнской Башни.

У коридора, ведущего в детскую, она остановилась. Слезы, которые она сдерживала с тех пор, как покинула свою комнату, снова начали литься. Она хотела уйти из дома не теряя ни минуты, но со странной непоследовательностью сделала несколько шагов к двери детской. Тут ее слух привлек какой-то шум в нижней части дома, и она замерла в нерешительности. Тоска, небывалая тоска подступила к ее сердцу и вырвалась глубоким задыхающимся всхлипом. Этот звук, казалось, привел ее в ужас и заставил осознать опасность своего положения, если она промедлит еще мгновение. Она бросилась к лестнице, благополучно добралась до кухни, проскользнула в сад. Вместо того чтобы идти по ближайшей тропинке, проложенной через болото к большой дороге, Сара направилась в сторону церкви, но, не дойдя до нее, остановилась у общественного колодца, вырытого неподалеку от рыбацких хижин. Осторожно оглянувшись кругом, она кинула в колодец ключ из Миртовой комнаты и поспешила дальше к церкви. Войдя во двор, она направилась прямо к одной из могил, расположенной немного в стороне от прочих. На плите были начертаны следующие слова:

*Свято чтим память Хью Полвила
26 лет отроду
Он встретил свою смерть от падения камня
в Портдженнской шахте
17 декабря 1823 года*

Сорвав несколько листочков травы с могилы, Сара раскрыла книжку «Гимны Уэсли», взятую ей из спальни в Портдженнской Башне, и заботливо уложила их между страниц. Ветер приподнял первый листок «Гимнов» и обнаружил на нем надпись, сделанную крупными неуклюжими буквами: «Книга принадлежит Саре Лисон. Дар Хью Полвила». Уложив травинки между страницами, Сара стала пробираться к тропинке, выводившей на большую дорогу. Оказавшись на болоте, она вынула из кармана своего передника пергаментные ярлычки и разбросала их под кустами дрока.

– Исчезните, – сказала она, – как исчезла я. Помогите и прости меня, Господи. Теперь всему конец.

С этими словами она повернулась спиной к старому дому и к морю и по болотной тропинке продолжила свой путь к большой дороге.

Четыре часа спустя, капитан Тревертон послал одного из слуг передать Саре Лисон, что он желает услышать все, что она расскажет ему о предсмертных минутах своей госпожи. Но тот вернулся с изумленным видом и письмом Сары, адресованным хозяину.

Прочитав письмо, капитан приказал немедленно начать поиски пропавшей женщины. Все ее приметы: преждевременная седина, странный и испуганный взгляд и привычка постоянно разговаривать сама с собой – были до того исключительны, что ее путь удалось проследить до самого Труро. Но в большом городе след ее потерялся. Предложили даже награду, и местные власти вмешались в дело – все, чем богатство и власть могли помочь, было сделано, – и понапрасну.

Не отыскивали ни малейшего намека на местонахождение Сары; не напали ни на одну зацепку, что могла объяснить упомянутую в ее письме тайну.

Сары не видали и не слыхали более в Портдженнской Башне с утра двадцать третьего августа тысяча восемьсот двадцать девятого года.

Книга II

Глава I

Пятнадцать лет спустя

Церковь в Лонг-Бекли (большой сельскохозяйственной деревне в одном из центральных графств Англии) ничем не примечательна – ни размерами, ни архитектурой, ни древностью, – но обладает одним неотъемлемым достоинством, которого торговый Лондон варварски лишил величественного собора Святого Павла: в ней много места для посетителей, и ее прекрасно видно, откуда ни взгляни.

К большой, открытой площади, на которой стоит церковь, можно подойти с трех разных сторон. Есть дорога из деревни – прямо к главным церковным дверям. Есть широкая гравийная дорожка, которая начинается от дома священника, пересекает кладбище и заканчивается, как и подобает, у входа в ризницу. Есть тропинка через поля, по которой лорд поместья и дворяне, живущие в его благородном соседстве, могут добраться до боковой двери здания, в случае, если их христианское смирение (поддерживаемое хорошей погодой) побудит их вспомнить день субботний и сходить в церковь, уподобляясь простым верующим – на собственных ногах.

Если какой-нибудь сторонний наблюдатель случайно оказался в половине восьмого, в одно прекрасное летнее утро, в тысяча восемьсот сорок четвертом году в каком-нибудь незаметном уголке церковного двора и стал бы пристально смотреть вокруг, то, вероятно, стал бы свидетелем поступков, которые могли навести его на мысль, что в Лонг-Бекли зреет заговор, что некоторые из самых почетных жителей – главные заговорщики, а место их сбора – церковь. Если бы он посмотрел на дом священника в ту минуту, как часы ударили половину, он увидел бы, как викарий Лонг-Бекли, преподобный доктор Ченнери, настороженно и беспокойно озираясь, вышел из дома через боковую дверь, подошел к гравийной дорожке, ведущей к ризнице и тревожно стал смотреть на дорогу, ведущую к деревне.

Положим, что наш наблюдательный незнакомец, посмотрел бы в ту же сторону, что и викарий. Он прежде всего увидел бы еще одного церковника – строгого мужчину с желтоватым лицом, – приближавшегося с таинственным видом и связкой больших ключей в руках. Он увидел бы, как викарий рассеянно кивает ему и говорит: «Доброе утро, Томас. Вы уже завтракали?» И услышал бы, как Томас ответил с подозрительным вниманием к мельчайшим деталям: «Я выпил чашку чаю с сухарем, сэр». И он увидел бы, как эти двое местных заговорщиков, разом посмотрев на церковные часы, направились к боковой двери, откуда шла тропинка через поле.

Проследив за ним, – что, вероятно, не преминул бы сделать наш наблюдательный незнакомец, – он обнаружил бы еще трех заговорщиков, приближавшихся по тропинке. Во главе этой группы был пожилой джентльмен, с обветренным лицом и грубоватыми, но сердечными манерами. Двое его спутников – молодой человек и девушка – шли под руку и разговаривали шепотом. Они были одеты просто, по-утреннему. Лица обоих были несколько бледны, а молодая леди казалась взволнованной. В остальном в них не было ничего примечательного, пока они не подошли к калитке, ведущей в церковный двор. Тут поведение молодого человека могло показаться с первого взгляда необъяснимым. Вместо того чтобы придержать калитку и дать пройти даме, он отступил, позволил девушке самой открыть ее и войти, а потом, протянув руку, позволил ей провести себя через вход, словно внезапно превратившись из взрослого мужчины в маленького беспомощного ребенка.

Принимая в расчет это обстоятельство и заметив, что, когда люди, пришедшие с поля, приблизились к церкви, и когда церковник отпер дверь, викарий за руку завел внутрь молодого человека, наш наблюдательный незнакомец должен был прийти к одному неизбежному заключению: человек, требующий такого рода помощи, слеп. Несколько смущенный этим открытием, он бы еще больше удивился, заглянув в церковь и обнаружив слепого юношу и девушку перед алтарем, а пожилого джентльмена в роли родителя. Как бы ни было велико его неверие в то, что заговорщики встретились в эту раннюю пору для заключения брака и что цель их заговора заключалась в том, чтобы обвенчаться в строжайшей тайне, оно рассеялось бы в пять минут при появлении из ризницы доктора Ченнери в полном облачении и при совершении венчального обряда. Когда церемония подошла к концу, незнакомец, должно быть, был бы озадачен еще больше, заметив, что все участвующие в ней лица разошлись, как только завершили с подписями, поцелуями и поздравлениями, и быстро удалились в те же направления, по которым они подошли к церкви. Оставим церковника возвращаться по деревенской дороге, жениха, невесту и пожилого джентльмена – по тропинке через поле, позволим незнакомцу исчезнуть с этих страниц в любом направлении, в каком ему заблагорассудится, а сами последуем за доктором Ченнери к завтраку и послушаем, что он будет рассказывать о своих утренних занятиях в привычной атмосфере семейного круга.

На завтрак собрались, во-первых, мистер Фиппен – гость, во-вторых, мисс Стерч – гувернантка, в-третьих, четвертых и пятых, мисс Луиза Ченнери одиннадцати лет, мисс Амелия Ченнери девяти лет и мистер Роберт Ченнери восьми лет. Матери, для дополнения семейной картины, не было: доктор Ченнери был вдовцом с рождения своего младшего ребенка.

Гость был старым товарищем викария по колледжу, он остановился в Лонг-Бекли для поправки здоровья. Есть люди, которые во что бы то ни стало стараются приобрести особого рода репутацию. Мистер Фиппен пользовался большим уважением в глазах своих друзей, благодаря репутации мученика диспепсии, также известной как расстройство пищеварения. Куда бы ни отправился мистер Фиппен, страдания желудка шли за ним. Все знали о его диете и его лечении. Он был так увлечен собой и своими недугами, что в пять минут посвящал случайного знакомого в тайну своего состояния; он так же часто рассуждал о своем пищеварении, как другие о погоде. На эту любимую тему, как и на все другие, он говорил с вкрадчивой мягкостью, то в тихо-скорбных, то в томно-сентиментальных тонах. Учтивость его была притворно-ласкова, он употреблял беспрестанно слово «любезный», обращаясь к другим. Его нельзя было назвать красивым мужчиной. Глаза у него были хотя и большие, но слезливые и светло-серые. Нос его был длинный, наклоненный, глубоко задумчивый – если такое выражение может быть использовано, говоря об этой отдельной черте лица. Губы его были сжаты, рост мал, большая лысая голова неуклюже сидела на плечах; одевался он эксцентрично, но продуманно; возраст – около сорока пяти; положение в свете – одинокий человек. Таков был мистер Фиппен, мученик диспепсии и гость викария Лонг-Бекли.

Мисс Стерч, гувернантку, можно коротко и точно описать как девушку, которая никогда не была встревожена никакой мыслью и никаким чувством с самого дня своего рождения. Это была маленькая, пухленькая, невозмутимая, белокожая, улыбчивая, опрятно одетая девушка, наученная исполнению определенных обязанностей в определенное время и обладающая неисчерпаемым запасом болтовни, которая безмятежно слетала с ее губ всегда в одинаковом количестве и всегда одинакового качества, во всякий час дня и в любое время года. Мисс Стерч никогда не смеялась и никогда не плакала, но придерживалась безопасного среднего пути – постоянно улыбалась. Она улыбалась, когда январским утром говорила, что очень холодно. Она улыбалась, когда июльским утром говорила, что очень жарко. Она улыбалась, когда раз в год приезжал епископ навестить викария; она улыбалась, когда каждое утро приходил за заказом мальчишка от мясника. Она улыбалась, когда мисс Луиза плакала у нее на груди и умоляла о снисхождении к ее географическим заблуждениям; она улыбалась, когда мистер Роберт

прыгал к ней на колени и требовал, чтобы она расчесывала ему волосы. Что бы ни случилось в доме викария, ничто не могло столкнуть мисс Стерч с той ровной колеи, по которой она постоянно катилась, всегда в одном и том же темпе. Если бы она жила в семье роялистов, во время Гражданской войны в Англии, то в утро казни Карла Первого она бы позвала кухарку, чтобы обсудить обед. Если бы Шекспир ожил и пришел к викарию в субботу в шесть часов вечера, чтобы объяснить мисс Стерч, каковы были его взгляды при написании трагедии «Гамлет», она бы улыбнулась и сказала, что это очень интересно, пока не пробило бы семь часов – тогда она бы прервала его на середине фразы, чтобы проконтролировать горничную, занятую стиркой. Очень достойная молодая особа мисс Стерч, говорили про нее дамы в Лонг-Бекли, как она рассудительна с детьми и как хорошо справляется с домашними обязанностями, какие правильные суждения, как отлично играет на фортепиано, довольно разговорчива, еще вполне молода, может быть, немного склонна к полноте в талии, но в целом очень достойная молодая особа, надо отдать ей должное.

На характерных особенностях воспитанников мисс Стерч не стоит долго останавливаться. Мисс Луиза имела склонность к простудам – это была ее главная слабость. Главным недостатком мисс Амелии была непреодолимая склонность к дополнительным обедам и завтракам в неположенное время. Самые заметные недостатки мистера Роберта были связаны со скоростью, с которой он рвал одежду, и с тупостью при изучении таблицы умножения. Достоинства всех трех были практически одинаковы – это были хорошо воспитанные, искренние дети, которые очень любили мисс Стерч.

Чтобы завершить галерею фамильных портретов, необходимо хотя бы в общих чертах описать самого викария. Доктор Ченнери, с физической точки зрения, делал честь своему званию. Рост шести футов два дюйма и более пятнадцати стоунов весу; он был лучшим игроком в крикетном клубе Лонг-Бекли; он был знатоком вина и баранины; в проповедях он никогда не выдвигал неприятных теорий о будущих судьбах людей, вне церкви никогда ни с кем не ссорился, никогда не отказывал нуждающимся, даже если они потеряли веру. Его жизненный путь пролегал по самой середине ровной, сухой и гладкой дороги. Боковые тропинки несчастий и споров могли сколько угодно змеиться справа и слева вокруг него – он шел себе прямо и не обращал на них внимания. Ни разу он не доставил беспокойства церковному руководству, он не имел никакого отношения к чтению или написанию памфлетов. Он был самым светским из всех священнослужителей, но его наружность и фигура редкостно подходили для облачения. Мускулистый стан без малейшего порока или изъяна внушает особое доверие к стойкости, необходимой для всех возможных столпов, и в особенности ценной для столпа церковного.

Как только викарий вошел, дети бросились к нему с криками радости. Он строго следил за своевременным принятием пищи, и сейчас бой часов осуждал его за опоздание к завтраку на четверть часа.

– Очень жаль, что заставил вас ждать, мисс Стерч, но этим утром у меня есть уважительная причина.

– Не беспокойтесь, сэр, – сказала мисс Стерч, безучастно потирая свои пухлые маленькие ручки. – Прелестное утро! Но боюсь, нас ждет еще один жаркий день. Роберт, душа моя, твой локоть на столе. Прелестное утро, прелестное!

– Опять желудок не в порядке, а, Фиппен? – спросил викарий, принимаясь резать ветчину.

Мистер Фиппен тоскливо покачал большой головой, жалобно посмотрел на доктора Ченнери и, вздохнув, достал из нагрудного кармана куртки маленький футляр красного дерева, из которого извлек пару аптекарских весов с гирьками, кусочек имбиря и отполированную серебряную терку.

– Любезная мисс Стерч, простите инвалида? – Мистер Фиппен начал медленно тереть имбирь в ближайшую чашку.

– Отгадайте, из-за чего я опоздал на четверть часа сегодня утром? – Викарий загадочно посмотрел на сидящих за столом.

– Пролежал в постели, папа, – закричали трое детей, торжествуя хлопая в ладоши.

– А вы что скажете, мисс Стерч? – спросил доктор Ченнери.

Мисс Стерч по обыкновению улыбнулась, по обыкновению потеряла руки, по обыкновению скромно откашлялась, пристально посмотрела на чайник и с самой милой учтивостью попросила извинить ее, если она ничего не скажет.

– Твой черед, Фиппен, – сказал викарий. – Ну, отгадай, отчего я сегодня опоздал?

– Любезный друг, не проси меня угадывать, я знаю ответ! Я видел, что ты вчера ел за ужином, видел, что ты пил после ужина: никакой желудок этого не выдержит, даже и твой. Угадать, отчего ты опоздал сегодня утром! Ха! Я знаю. Ты, бедная, добрая душа, ты принимал лекарство!

– Не прикасался ни к одному за последние десять лет! – ответил доктор Ченнери с видом набожной благодарности. – Нет, нет, вы все ошибаетесь. Дело в том, что я был в церкви, и что вы думаете, я там делал? Слушайте, мисс Стерч, слушайте, девочки, внимательно. Наконец бедный слепой юноша Фрэнкленд стал счастливым человеком: я обвенчал его с нашей милой Розамондой Тревертон этим самым утром!

– И не сказали нам, папа! – воскликнули обе девочки с досадой и удивлением. – Не сказали нам, хотя вы знаете, как мы были бы рады это видеть!

– Вот оттого-то я вам и не сказал, мои милые, – ответил викарий. – Молодой Фрэнкленд не настолько свыкся со своим недугом, бедняга, чтобы терпеть, когда его публично жалеют и смотрят на него в образе слепого жениха. Он так боялся стать объектом внимания в день свадьбы, а Розамонда, истинно добросердечная девушка, так беспокоилась о том, чтобы были исполнены его малейшие прихоти, что мы решили обвенчать их в такой час утра, когда никто из бездельников не будет слоняться в окрестностях церкви. Я был обязан сохранять втайне назначенный день, также и мой помощник Томас. Кроме нас двоих, жениха с невестой и отца невесты, капитана Тревертона, никто ничего не знал.

– Тревертон! – вскрикнул мистер Фиппен, протягивая чашку с натертым имбирем на дне мисс Стерч, чтоб она наполнила ее. – Тревертон! Достаточно чаю, любезная мисс Стерч. Как это удивительно! Я знаю это имя. Долейте воды, пожалуйста. Скажи мне, любезный доктор. Очень, очень благодарен, не надо сахара, он окисляется в желудке. Скажите, эта мисс Тревертон, которую вы сегодня венчали. Очень благодарен; молока тоже не нужно. Одна из корнуоллских Тревертонов?

– Именно так! – ответил викарий. – Отец ее, капитан Тревертон, глава этой фамилии. Хотя осталось их не очень много: капитан, Розамонда, да этот своенравный старый зверь, ее дядя, Эндрю Тревертон – остатки старого рода... Богатой и знатной семьи, добрых друзей церкви и отечества, знаете ли.

– Сэр, вы не против, если Амелия получит вторую порцию хлеба с мармеладом? – спросила мисс Стерч, обращаясь к доктору Ченнери, совершенно не сознавая, что прерывает его.

Не имея в своей голове места, чтобы откладывать дела до тех пор, пока не придет время их достать, мисс Стерч всегда задавала вопросы и делала замечания в тот момент, когда они приходили ей в голову, не дожидаясь начала, середины или конца разговора, который мог происходить в ее присутствии. Она неизменно участвовала в разговоре как внимательная слушательница, но сама говорила только тогда, когда разговор относился прямо к ней.

– О, дайте ей вторую порцию, что за проблема! – сказал беззаботно викарий. – Если ей надо наесться, так не все ли равно будет это хлеб с мармеладом или что-то еще.

– Добрая душа! – воскликнул мистер Фиппен, – Взгляни на меня, какая я развалина, и не говори так шокирующе легкомысленно о том, что Амелии надо наесться чем угодно. Нагрузит желудок в молодости, что тогда будет с пищеварением в зрелые лета? Вещь, кото-

рую в простонародье называют внутренностями, – забота мисс Стерч о здоровье ее прелестных воспитанников послужит мне извинением в том, что я вдаюсь в физиологические подробности, – это не что иное, как аппарат. С точки зрения пищеварения, мисс Стерч, самые юные и прекрасные представители человечества не более чем аппарат. Мучные пудинги и бараньи отбивные, бараньи отбивные и мучные пудинги – вот что должно стать девизом родителей по всей Англии, будь моя воля. Смотри сюда, милое дитя, смотри на меня. Эти маленькие весы – не игрушка, а очень серьезная вещь. Гляди! Я кладу на весы, с одной стороны сухой хлеб, – черствый, сухой хлеб, Амелия! – с другой – несколько гирь. «Мистер Фиппен, взвешивайте еду! Мистер Фиппен, ешьте каждый день одинаковое количество, ни на волос больше! Мистер Фиппен, превышайте эту норму – хоть бы даже черствым, сухим хлебом – на свой страх и риск». Амелия, душа моя, это не шутка, это то, что говорили мне доктора. Доктора, дитя мое, которые исследуют мой аппарат вот уже тридцать лет посредством маленьких пилюль, и не нашли, где же случился засор. Подумай об этом, Амелия, подумай о засорившемся аппарате мистера Фиппена и скажи: «Нет, благодарю вас, в другой раз». Мисс Стерч, тысячу раз прошу извинений, за вторжение в ваши владения... Ченнери, добрая, честная душа, о чем ты говорил? А, о невесте, об интересной невесте! Так она из корнуоллских Тревертонов? Я кое-что слышал об Эндрю много лет назад. Эксцентрик и мизантроп. Холостяк, как и я, мисс Стерч. Его аппарат был не в порядке, как и мой, любезная Амелия. Совсем не то, что его брат, капитан. Итак, она вышла замуж? Прелестная девушка, нет сомнения. Прелестная девушка!

– Нет лучше, честнее и красивее девушки на свете, – сказал викарий.

– Очень живая, энергичная особа, – добавила мисс Стерч.

– Как мне будет ее не хватать! – воскликнула мисс Луиза. – Никто так не развлекал меня, как Розамонда, когда я лежала больная с моим несносным насморком.

– Она нас угощала невероятно вкусными ужинами, – вспомнила мисс Амелия.

– Это единственная девочка, которая играла с мальчиками, – сказал мистер Роберт. – Она могла поймать мяч, мистер Фиппен, сэр, одной рукой и скатиться с горки!

– Помилуй бог! – пробормотал мистер Фиппен. – Вот странная жена для слепого человека! Ты сказал, что он слеп, любезный доктор, ведь так? Как бишь его зовут? Вы не будете слишком строго судить меня за мою беспамятность, мисс Стерч? Когда несварение покончило с телом, это отзывается и на умственных способностях. Мистер Фрэнк ведь слеп от рождения? Жалко! Жалко!

– Нет, нет. Он – Фрэнкленд, – ответил викарий. – Леонард Фрэнкленд. И вовсе слепой не от рождения. Не больше года назад он мог видеть почти так же хорошо, как любой из нас.

– Несчастный случай, я полагаю! – продолжал мистер Фиппен. – Извините меня, если я займу кресло? Сидеть, откинувшись на спинку, очень полезно после еды. Значит, с его глазами произошел несчастный случай? Ах, какое наслаждение сидеть в таком удобном кресле!

– Вряд ли это был несчастный случай, – сказал доктор Ченнери. – Леонард Фрэнкленд с рождения был страшно слабеньким. Со временем он превратился в тихого, спокойного, порядочного мальчика – совершенно непохожего на моего сына – очень приветливого и, что называется, легкого в общении. У него оказалась склонность к механике – все это я рассказываю, чтоб дать понятие о его слепоте, – и он, переходя от одного занятия такого рода к другому, стал наконец делать часы. Странное занятие для мальчика, но все, что требовало деликатности прикосновений, терпения и настойчивости, именно и могло развлечь и занять Леонарда. Я, бывало, говорил его отцу с матерью: «Уберите из-под него этот стул, разбейте увеличительные стекла и пришлите его ко мне: я дам ему возможность играть в чехарду и научу пользоваться битой». Только это были напрасные слова. Какое-то время все шло гладко, как вдруг он опять сильно занемог, как я думаю, от недостатка физических упражнений. Как только он поднялся на ноги, то возвратился к своему прежнему занятию – изготовлению часов. Только беда была за плечами. Последней его работой был ремонт моих часов – вот они; идут все так же верно. Я

только положил их в карман, как Леонард сказал, что у него сильная боль в затылке, а перед глазами мелькают какие-то пятна. Я посоветовал давать ему побольше портвейну, да заставлять ездить часа по три в день на смирном пони. А они, вместо того, чтобы послушаться, послали в Лондон за докторами, стали растирать ему ртуть за ушами и между лопаток и заперли его в темной комнате. Ничего не помогло. Зрение делалось все хуже и хуже и наконец погасло, как пламя свечи. Мать его умерла – к счастью для нее, бедная, – прежде, чем это случилось. Отец чуть не обезумел, повез его к окулистам в Лондон и в Париж. Все они только и делали, что называли слепоту длинным латинским словом и говорили, что делать операцию бесполезно. Некоторые из них говорили, что это результат длительной слабости, от которой он дважды страдал после болезни. Другие говорили, что у него был апоплексический удар в мозг. Все качали головой, услышав о его часовом деле. Так его и привезли домой слепого; и слепым он останется, бедный, добрый юноша, до конца своих дней.

– Ты меня пугаешь, любезный Ченнери, – сказал мистер Фиппен. – Особенно когда излагаешь эту теорию о долгой слабости после болезни. Боже милосердный! У меня такое бывало, да и сейчас я чувствую слабость. Он видел пятна перед глазами? Я вижу пятна, черные пятна, прыгающие черные пятна, прыгающие черные желчные пятна. Честное слово, Ченнери, твоя история меня поразила! Я прочувствовал его слепоту каждым нервом своего тела, уверяю тебя!

– Глядя на него, вы вряд ли поймете, что Леонард слеп, – сказала мисс Луиза, вступая в разговор с целью восстановить спокойствие мистера Фиппена. – Кроме того, что его глаза кажутся спокойнее, чем у других, в них нет никакого отличия. Кто этот знаменитый персонаж, о котором вы нам рассказывали, мисс Стерч, который был слеп и так же этого не показывал, как Леонард Фрэнкленд?

– Мильтон, моя душа. Я просила вас запомнить, что он самый знаменитый эпический поэт Англии, – ответила мисс Стерч с достоинством. – Он поэтически описывал свою слепоту, говоря, что причиной ее было «непроглядное бельмо». Ты еще прочтешь об этом, Луиза. После того как мы сегодня немного позанимаемся французским языком, мы займемся и Мильтоном. Тише, милая, твой папа говорит.

– Бедный молодой Фрэнкленд! – горячо проговорил священник. – Это доброе, нежное, благородное создание, с которым я повенчал его ныне поутру, ниспослано, кажется, самими небесами на утление его горя. Если есть человеческое существо, способное осчастливить его на всю жизнь, так это Розамонда Тревертон.

– Она принесла себя жертву, – заметил мистер Фиппен, – и я уважаю ее за это, поскольку сам принес себя в жертву, оставшись холостым. Я должен был это сделать из соображений гуманности. Мог ли я без зазрения совести, при таком несварении желудка, как мое, соединиться с одной из представительниц прекрасной половины человечества? Нет, я сам жертва, и у меня есть чувство сострадания к другим, таким же, как я. Сильно она плакала, Ченнери, когда вы ее венчали?

– Плакала! – воскликнул викарий. – Розамонда Тревертон не из тех, кто любит сентиментальность, могу вам сказать. Она милая, добросердечная и иногда немного вспыльчивая девушка. И она говорит правду, если говорит человеку, что хочет быть его женой. А вы думаете, что она вышла по принуждению?! Если бы она не любила его всем сердцем и душой, она давно могла бы выйти замуж за любого, кто ей понравится. Но они были помолвлены задолго до того, как это жестокое несчастье постигло молодого Фрэнкленда, – их родители были соседями в течение многих лет. Когда Леонард ослеп, он сразу же предложил Розамонде отказаться от ее обязательств. Если бы ты только мог прочесть, Фиппен, письмо, которое она написала ему по этому случаю! Сознаюсь, что я плакал как ребенок, читая его. Я готов был повенчать их тотчас же по прочтении письма, но старый Фрэнкленд был человеком беспокойным и пунктуальным и настоял, чтобы назначено было полгода испытания для проверки чувств Розамонды. Он умер прежде срока, и это обстоятельство еще раз отдалило свадьбу. Только никакие отсрочки

не были властны над Розамондой: шесть лет вместо шести месяцев не могли бы изменить ее мнения. Вот нынче утром она была так же нежна к своему бедному слепому страдальцу, как в первый день их помолвки. «Ты никогда не узнаешь ни одной грустной минуты, Ленни, если я смогу помочь горю». Это были первые ее слова, когда мы все вышли из церкви. «Я вас тоже слышу, Розамонда, – сказал я, – помните это». «И будете моим судьей! – ответила она решительно. – Мы вскоре возвратимся в Лонг-Бекли, и вы спросите Ленни, сдержала ли я свое слово». Выпьем за ужином за их здоровье, мисс Стерч, выпьем лучшего вина, что есть у меня в погребе, за здоровье их обоих.

– Я предпочту стакан воды, если позволите, – мрачно заметил мистер Фиппен. – Но, любезный Ченнери, говоря о родителях этой милой молодой чете, ты упомянул, что они были близкими соседями здесь, в Лонг-Бекли. Я с сожалением замечаю, что память меня подводит, но мне казалось, капитан Тревертон был старшим из двух братьев и жил всегда в семейном поместье в Корнуолле?

– Так и было, пока была жива его жена. Но после ее смерти, а это было в двадцать девятом году... Постой, теперь у нас сорок четвертый, значит, этому будет... – Викарий замолчал на мгновение, чтобы подсчитать, и взглянул на мисс Стерч.

– Пятнадцать лет, сэр, – подсказала мисс Стерч, с самой искренней улыбкой.

– Точно, – продолжал доктор Ченнери. – С тех пор как миссис Тревертон умерла пятнадцать лет назад, капитан Тревертон даже и близко не приближался к Портдженнской Башне. И, более того, Фиппен при первой же возможности продал это имение. Продал его целиком и полностью: шахту, рыбные промыслы и все остальное – за сорок тысяч фунтов стерлингов.

– Неужели! – воскликнул мистер Фиппен. – Что же там, воздух был нездоров? Мне кажется, местные продукты питания должны быть очень грубы. Кто купил имение?

– Отец Леонарда Фрэнкланда, – ответил викарий. – Продажа Портдженнской Башни – длинная история и с некоторыми любопытными обстоятельствами. Может быть, мы пройдемся по саду, Фиппен? Я расскажу тебе обо всем за утренней сигарой. Мисс Стерч, если я вам понадобится, я буду на лужайке. Девочки, не забывайте об уроках! Боб, помни, что в холле ждет трость, а в гардеробной березовый прут. Пойдем, Фиппен, вставай с кресла. Ведь ты не откажешься от прогулки по саду?

– Не откажусь, любезный друг, если ты одолжишь мне зонтик и позволишь взять складной стул, – ответил мистер Фиппен. – Мое зрение слишком слабо, чтобы выносить солнечный свет, и не могу далеко уйти, не присев. Как только почувствую слабость, мисс Стерч, так раскладываю стул и сажусь, невзирая ни на какие приличия. Я готов, Ченнери, и в саду гулять, и слушать историю о продаже Портдженнской Башни. Ты говоришь, что прелюбопытная история, так?

– Я говорю, что с ней связаны некоторые любопытные обстоятельства. Вот послушаешь и наверняка с этим согласишься. Пойдем. Твой складной стул и зонтик на выбор найдутся в холле.

С этими словами доктор Ченнери открыл портсигар и вышел из столовой.

Глава II

Продажа Портдженнской башни

– Как прекрасно! Как пасторально! Как успокоительно для нервов! – говорил мистер Фиппен, сентиментально осматривая лужайку у задней стены дома викария под сенью самого легкого зонтика, который он мог выбрать. – Три года прошло, Ченнери, – три мучительных года для меня, но не нужно на этом останавливаться, – с тех пор как я в последний раз стоял на этой лужайке. Вот окно твоего старого кабинета, где у меня в прошлый раз случился приступ изжоги – как раз был сезон клубники, помнишь? А, вот и комната для занятий! Разве я когда-нибудь забуду милую мисс Стерч, выходящую ко мне из этой комнаты, – ангел-утешитель с содой и имбирем, – так она помогала мне, так внимательно размешивала напиток, так непритворно огорчалась, что в доме не было нужного лекарства! Мне так отрадны эти воспоминания, Ченнери; они доставляют мне такое же наслаждение, как тебе сигара... Однако не можешь ли ты идти с этой стороны, друг мой? Я люблю этот запах, но дым для меня тяжел. Благодарю. Теперь об этой истории – этой занимательной истории? Как бишь название старинного места? Начинается с «П», верно?

– Портдженнская Башня.

– Именно, – кивнул мистер Фиппен, перекладывая зонтик с одного плеча на другое. – Но что же, скажи на милость, могло заставить капитана Тревертона продать Портдженнскую Башню?

– Я думаю, причина была в том, что он не мог видеть это место после смерти жены, – ответил доктор Ченнери. – Имение, как ты знаешь, никогда не было заложено, поэтому капитану не составило труда расстаться с ним, за исключением, конечно, трудностей с поиском покупателя.

– Почему он не продал его брату? Почему не нашему эксцентричному другу Эндрю Тревертону?

– Не называй его моим другом, – попросил викарий. – Подлый, низкий, циничный, эгоистичный старый негодяй! Нечего качать головой, Фиппен, и пытаться выглядеть потрясенным. Я знаю прошлое Эндрю Тревертона так же хорошо, как и ты. Я знаю, что его друг по колледжу обошелся с ним самым подлым и неблагодарным образом, взяв у него все, что тот мог дать, и надув его самым мошенническим манером. Я все это знаю. Но один случай неблагодарности не может оправдать человека, который отлучился от общества и вносит хулу на все человечество. Я сам слышал, как старый грубиян говорил, что величайшим благодетелем для нашего поколения был бы второй Ирод, который мог бы предотвратить смену одного поколения другим. Может ли человек, произносящий такие слова, быть другом любого человеческого существа, имеющего хоть малейшее уважение к своему виду или к самому себе?

– Дорогой мой! – воскликнул мистер Фиппен, схватив викария за руку и таинственно понизив голос. – Любезный и почтенный друг мой! Я уважаю твое благородное негодование на того, кто произносит эти крайне человеконенавистнические речи, но в строжайшей тайне признаюсь тебе, Ченнери, бывают минуты, по утрам, в особенности когда мое пищеварение в таком состоянии, что я готов согласиться с этим ужасным Эндрю Тревертоном! Я просыпаюсь, у меня язык черный, как уголь, я ползу к зеркалу и гляжу в него, и говорю самому себе: пусть лучше прекратится человеческий род, чем ему продолжаться таким образом!

– Пф! – викарий встретил признание мистера Фиппена взрывом непочтительного смеха. – В следующий раз, когда ваш язык будет в таком состоянии, выпейте стакан прохладного пива, и вы будете молиться о продолжении рода человеческого, во всяком случае, о продолжении рода пивоваров. Но возвратимся к Портдженнской Башне, или я никогда не доскажу этой истории. Итак, капитан Тревертон решил продать имение, и я не сомневаюсь, что при

обычных обстоятельствах он подумал бы о том, чтобы предложить его своему брату, с целью сохранить имение в семье. Эндрю был достаточно богат, чтобы купить его: хотя после смерти отца ему не досталось ничего, кроме редкой коллекции книг старого джентльмена, он унаследовал состояние матери, как второй сын. Однако тогда, да и сейчас, к моему сожалению, капитан не мог сделать Эндрю никакого предложения, поскольку эти двое не разговаривали и даже не переписывались. Грустно сказать, но о ссоре хуже, как между этими двумя братьями, я и не слыхивал.

– Извини меня, любезный друг, – сказал мистер Фиппен, ставя складной стул, который до тех пор мотался, прицепленный шелковыми шнурками к загнутой ручке зонтика. – Могу я присесть, прежде чем ты продолжишь? Я немного взволнован этой частью истории, а мне не стоит утомляться. Сделай одолжение, продолжай. Я не думаю, что ножки моего стула оставят следы на газоне. Я так легок, почти скелет, в самом деле. Говори же!

– Ты, вероятно, слышал, – продолжил викарий, – что капитан Тревертон уже в годах женился на актрисе. Это была женщина горячего темперамента, но безупречного характера и любила своего мужа так, как только может любить женщина; и вообще, по моему мнению, отличная для него жена. Хотя друзья капитана, как водится, подняли крик, а брат капитана, как ближайший родственник, попытался разорвать брак самым оскорбительным и бестактным образом. Не добившись успеха и ненавидя бедную женщину, он покинул дом брата, сказав, между прочими дикими речами, одну такую ужасную вещь о невесте, которую, клянусь честью, Фиппен, мне стыдно повторять. Какими бы ни были эти слова, они, к несчастью, дошли до ушей миссис Тревертон; а они были такого рода, что ни одна женщина, даже и не такая вспыльчивая, как жена капитана, никогда не простит. Между братьями последовала беседа, имевшая, как ты можешь себе вообразить, самые горестные последствия. Они расстались самым прискорбным образом. Капитан объявил в пылу гнева, что у Эндрю никогда не было ни одного благородного побуждения с тех пор, как он родился, и что он умрет, не полюбив ни одного существа в мире. Эндрю ответил, что, если у него нет сердца, так есть память и что он будет помнить эти прощальные слова, пока будет жив. Так они и расстались. Дважды после того капитан пытался с ним примириться. Первый раз, когда родилась его дочь Розамонда; второй раз, когда умерла миссис Тревертон. Оба раза старший брат писал, что, если младший откажется от тех страшных слов, которые он говорил про свою невестку, ему будут предложены извинения за грубые выражения, которые капитан использовал в порыве гнева при их последней встрече. Никакого ответа на письма не было, и вражда братьев продолжается до сих пор. Ты теперь понимаешь, почему капитан Тревертон не мог узнать пожелания Эндрю, прежде чем публично объявить о намерении продать Портдженнскую Башню?

Хотя мистер Фиппен заявил, что все прекрасно понимает, и хотя он с предельной вежливостью попросил викария продолжать, его внимание, казалось, было полностью поглощено осмотром ножек табурета и выяснением того, какое воздействие они производят на лужайку. Однако интерес самого доктора Ченнери к обстоятельствам, о которых он рассказывал, казался достаточно сильным, чтобы компенсировать любое мимолетное ослабление внимания гостя. После нескольких энергичных затяжек сигарой (которая несколько раз на протяжении рассказа готова была потухнуть), он продолжал:

– Итак, через несколько месяцев после смерти миссис Тревертон дом, земли, шахта и рыбные промыслы Портдженны были выставлены на продажу, но не было сделано ни одного предложения, которое можно было бы принять. Печальное состояние дома, плохая обработка земли, юридические трудности в связи с шахтой и ежеквартальные трудности со сбором арендной платы – все это делало имение, по выражению аукционистов, плохим лотом для продажи. Не сумев продать поместье, капитан Тревертон все-таки не изменил своего намерения переместить место жительства. Смерть жены разбила его сердце – ведь он, по общему мнению, любил ее так же сильно, как и она его, – и сам вид дома, связанного с самым большим несчастьем

в его жизни, стал ему ненавистен. Он переехал с маленькой дочкой и родственницей миссис Тревертон, которая была ее гувернанткой сюда, по соседству с нами, и снял красивый небольшой коттедж на другой стороне церковных полей. В ближайшем к нему доме в то время жили отец и мать Леонарда Фрэнкланда. Новые соседи скоро подружились, так и случилось, что повенчанная нынешним утром пара выросла вместе, и они полюбили друг друга прежде, чем выросли из детских одежек.

– Ченнери, любезный друг, тебе не кажется, что я сию, завалившись на один бок?! – тревожно воскликнул мистер Фиппен, перебив рассказ викария. – Мне очень жаль, что я прерываю тебя, но трава в ваших краях удивительно нежна. Одна из ножек моего складного стула с каждым мгновением становится короче и короче. Я сверлю дыру! Я сейчас опрокинусь! Милосердное небо! Чувствую, что падаю, вот-вот упаду. Ченнери, клянусь жизнью, вот-вот упаду!

– Что ж за беда такая, – пробормотал викарий, приподнимая сначала самого мистера Фиппена, а потом его складной стул, застрявший одной стороной в траве. – Садись на гравийной дорожке, в ней не сделаешь дыр. Ну, что еще с тобой?

– Учащенное сердцебиение, – проговорил мистер Фиппен, бросив свой зонтик и прижав руку к сердцу, – и желчь. Я опять вижу эти черные пятна, эти адские черные пятна, пляшущие перед глазами. Ченнери, не спросить ли тебе одного из твоих приятелей-агрономов о свойстве травы? Помяни мое слово, эта лужайка гораздо мягче, чем следует. Лужайка! – презрительно повторил про себя мистер Фиппен, наклоняясь, чтоб поднять зонтик. – Это не лужайка – это болото!

– Вот, садись, – сказал викарий, – и не устаивай ни малейшим вниманием ни сердцебиение, ни черные пятна. Не хочешь ли чего-нибудь выпить? Чего-нибудь лекарственного, или пива, или чего-то еще?

– Нет, нет! Мне так досадно, что я доставляю неприятности, – ответил мистер Фиппен. – Я бы предпочел страдать. Мне кажется, если ты продолжишь рассказ, Ченнери, это меня успокоит. Я не имею ни малейшей идеи, к чему все идет, но, помнится, ты говорил что-то об одежках.

– Я хотел только рассказать тебе о любви между двумя детьми, которые теперь выросли и стали мужем и женой. Хотел также сказать, что капитан Тревертон, вскоре после того, как поселился в наших краях, снова стал активно заниматься своей профессией. Казалось, ничто другое не могло заполнить пробел, который образовался в его жизни после потери миссис Тревертон. При его связях в Адмиралтействе ему нетрудно было при первом желании получить корабль, и теперь он редко бывает на берегу – большей частью проводит время в море, хотя его дочь и приятели говорят, что он уже слишком стар для этого. Не хмурьтесь, Фиппен. Это некоторые из необходимых деталей, которые должны быть изложены в первую очередь. А теперь, когда с ними покончено, я могу перейти к основной части моей истории – продаже Портдженнской Башни. Что с тобой? Тебе опять надобно встать?

Да, мистер Фиппен действительно хотел снова встать, чтобы унять учащенное сердцебиение и разогнать черные пятна с помощью небольшой прогулки. Он очень не хотел доставлять затруднений, но попросил достойного друга Ченнери подать ему руку, понести табурет и потихоньку направиться под окошко классной комнаты, чтобы мисс Стерч была на расстоянии легкого оклика, на случай если понадобится прибегнуть к последнему средству – приему успокоительного лекарства. Викарий, чья неиссякаемая доброта была устойчива к любым испытаниям, причиненным желудочным недугом мистера Фиппена, выполнил все эти просьбы и продолжил рассказ, невольно приняв тон и манеру добродушного родителя, который делает все возможное, чтобы успокоить нрав капризного ребенка.

– Я говорил тебе, – продолжил он, – что старший мистер Фрэнклэнд и капитан Тревертон были ближайшими соседями. Через несколько дней знакомства один узнал от другого, что Портдженнская Башня выставлена на продажу. Услышав об этом, старый Фрэнклэнд задал

несколько вопросов об этом месте, но не сказал ни слова о его покупке. Вскоре после того капитан сел на корабль и отправился в море. В его отсутствие старый Фрэнкленд отправился в Корнуолл, чтобы осмотреть имение и расспросить о его достоинствах и недостатках людей, оставшихся управлять домом и землями. Впрочем, он никому не говорил ни слова до тех пор, пока капитан Тревертон не вернулся из первого плавания. И тогда старый джентльмен заговорил в спокойной, решительной манере: «Тревертон, если вы готовы продать Портдженнскую Башню за ту цену, которую требовали на аукционе, напишите вашему нотариусу, чтобы он привез ко мне документы и получил деньги». Разумеется, капитан Тревертон был несколько удивлен таким поспешным предложением, но те, кто знают, как я, историю старого Фрэнкленда, не очень-то удивились. Состояние его нажито торговлей, и он имел глупость стыдиться такого простого и достойного факта. Дело в том, что его предки были знатными землевладельцами до Гражданской войны, и большим стремлением старого джентльмена было перекалвалифицироваться из торговца, чтобы оставить своему сыну в наследство титул эсквайра с большим состоянием и большим влиянием в графстве. Он был бы готов пожертвовать половиной состояния, чтобы осуществить этот план; но половины его состояния было недостаточно для приобретения большого поместья в таком земледельческом крае, как наш. Такое обширное поместье, как Портдженна, стоило бы вдвое дороже против цены, запрошенной за него капитаном, если бы находилось в этих краях. Кроме того, феодальный облик Портдженнской Башни и право на шахту и рыбные промыслы, которые включались в покупку поместья, льстили его представлениям о восстановлении величия семьи. В Портдженне он, а после его сын, могли властвовать, как он думал, в больших масштабах, могли направлять по своей воле и желанию дела сотен бедняков, рассеянных по побережью или теснящихся в маленьких деревушках внутри страны. Это была заманчивая перспектива, и ее можно было получить за сорок тысяч фунтов стерлингов, что было на десять тысяч фунтов меньше, чем он решил отдать, когда впервые надумал превратиться из простого торговца в великолепного джентльмена. Люди, знавшие эти факты, были, как я уже сказал, не очень удивлены готовностью мистера Фрэнкленда купить Портдженнскую Башню. Не стоит и говорить, что капитан Тревертон не подумал затягивать сделку. Имение перешло в другие руки. И отправился старый Фрэнкленд, с целой свитой лондонских мудрецов, разрабатывать шахту и рыбные промыслы на новых научных принципах и украшать старый дом сверху донизу новыми средневековыми штучками под руководством джентльмена, который, как говорили, был архитектором, но, на мой взгляд, выглядел как замаскированный католический священник. Чудесные планы и проекты, не правда ли? И чем же, ты думаешь, все это кончилось?

– Говори, говори же, любезный друг! – сказал мистер Фиппен, размышляя, хранит ли мисс Стерч камфору в домашней аптечке?

– Конечно, все его планы обернулись полным провалом. Корнуоллские арендаторы приняли его как чужака. Древность его семьи не произвела на них никакого впечатления. Может быть, это и была старинная семья, но это была не корнуоллская семья, и, следовательно, это не имело никакого значения в их глазах. За Тревертонами они готовы были идти на край света, но для Фрэнкленда никто из них не захотел сделать и шагу. Что касается рудников, то они, казалось, разделяли мятежные чувства людей. Лондонские умники вели взрывные работы во всех направлениях, руководствуясь самыми глубокими научными принципами, но добыча каждого куска руды, стоившего не более шести пенсов, обходилась им в пять фунтов. С рыболовством было не лучше. Новый проект вяления сардин, который в теории был чудом экономии, на деле оказался чудом расточительности. Единственной удачей в огромном количестве несчастий старого Фрэнкленда стала его своевременная ссора с архитектором, который был похож на переодетого священника. Это спасло нового владельца Портдженны от неминуемого разорения, если бы он решился потратиться на реставрацию и переделку комнат в северной стороне дома, которые были оставлены на произвол судьбы и разрушены более пятидесяти лет назад,

и которые остаются в запущенном состоянии и по сей день. Короче говоря, израсходовав без всякой пользы столько тысяч фунтов, что я и сосчитать не умею, старый Фрэнкленд отступился наконец от всех своих планов, поручил дом дворецкому, обязав его не тратить на улучшение строения ни одного фартинга, и возвратился в наши края. Он встретил на берегу капитана Тревертона и первое, что сделал, это слишком рьяно обругал Портдженну и всех ее жителей. Это привело к охлаждению отношений между двумя соседями, которое могло бы закончиться разрывом всех связей, если бы не дети, которые видели друг друга так же часто, как и раньше, и которые, благодаря своему упорству, положили конец отчуждению между отцами, превратив его в шутку. Здесь, на мой взгляд, кроется самая любопытная часть истории. Важнейшие интересы семейств зависели от молодых людей, которые влюбились друг в друга. И то была самая романтическая любовь, в которой родители с обеих сторон были заинтересованы больше всего. Шекспир может говорить все, что ему заблагорассудится, но течение настоящей любви иногда бывает спокойным. Никогда мне не случилось соединить двух влюбленных с такой прекрасной целью, как в это утро. Имение, купленное у капитана, перешло в наследство Леонарду, дочь капитана должна была возвратиться как хозяйка дома и земли, которые продал ее отец. Розамонда – единственный ребенок, и деньги, о которых старый Фрэнкленд когда-то сокрушался как о выброшенных на ветер, теперь, после смерти капитана, станут супружеской долей жены молодого Фрэнкленда. Я не знаю, что вы скажете о начале и середине моего рассказа, но конец должен вам понравиться. Слышали ли вы когда-нибудь о женихе и невесте, которые начинали жизнь с более радужными перспективами?

Прежде, нежели мистер Фиппен успел что-то ответить, мисс Стерч высунула голову из окна и, увидев, что мужчины приближаются к дому, обратилась к ним с неизменной улыбкой.

– Извините, сэр, что вас беспокою, но, мне кажется, Роберт не может совладать сегодня с таблицей умножения.

– На чем он остановился? – спросил доктор.

– Семь на восемь, сэр.

– Боб! – крикнул викарий через окно. – Семью восемь?

– Сорок три, – ответил хнычущий голос невидимого Боба.

– У тебя есть еще один шанс, прежде чем я достану трость, – предупредил доктор. –

Итак, семью...

– Любезный друг, – вмешался мистер Фиппен, – прежде чем вы употребите в дело вашу трость, позвольте мне уйти отсюда и также избавить мисс Стерч от неудовольствия слышать визг этого несчастного мальчишки. Есть у вас камфора, мисс? – прибавил он, обращаясь к мисс Стерч. – Мои нервы так расстроены, что я умоляю вас не отказать мне в просьбе.

Пока мисс Стерч, чья хорошо натренированная чувствительность была устойчива к самым долгим отцовским поркам и самым громким сыновним крикам, поднималась по лестнице за камфорой, как всегда улыбаясь, Боб, оставшись наедине со своими сестрами в школьной комнате, подошел к младшей из них, достал из кармана три старых, засохших леденца и предложил их в обмен на ответ, сколько будет семью восемь.

– Ты же такие любишь, – прошептал Боб.

– О да, – ответила Амелия.

– Скажите же мне, сколько будет семью восемь?

– Пятьдесят шесть, – ответила Амелия.

– Точно?

– Да, пятьдесят шесть.

Леденцы, перейдя из рук в руки, отвратили домашнюю драму.

Мисс Стерч явилась с камфорой, которой мистер Фиппен успокоил свои нервы, а докторская трость осталась на своем месте.

– Очень вам благодарен, мисс, – произнес мученик диспепсии, со смаком причмокнув губами, когда осушил последние капли из стакана. – Мои нервы спасены, чувства мисс Стерч спасены, и спина дорогого мальчика спасена. Вы даже не представляете, какое облегчение я испытываю, Ченнери. Где вы остановились в вашей восхитительной истории, когда произошло это маленькое домашнее беспокойство?

– Я уже подошел к концу, – сказал викарий. – Жених и невеста уже в нескольких милях от дома, чтобы провести медовый месяц в Сент-Свитинс-он-Си. Капитан Тревертон остался всего на день. В понедельник он получил приказ об отплытии и завтра утром отправится в Портсмут, чтобы принять командование кораблем. Хотя он не признается в этом, я знаю, что Розамонда убедила его сделать это плавание последним. У нее есть план, как вернуть его в Портдженну, чтобы жить там всем вместе, и я надеюсь и верю, что он удастся. Западные комнаты, в одной из которых умерла миссис Тревертон, использоваться не будут. Они наняли строителя – на этот раз разумного, практичного человека – для обследования запущенных северных комнат с целью их перепланировки и тщательного ремонта. Эта часть дома не связана с меланхолическими воспоминаниями капитана Тревертона, поскольку ни он, ни кто-либо другой никогда не заходил в нее во время проживания в Портдженне. Принимая во внимание изменения в облике места, которые, несомненно, произведет ремонт северных комнат, а также учитывая смягчающее воздействие времени на все болезненные воспоминания, я бы сказал, что есть все шансы на то, что капитан Тревертон вернется, чтобы там провести конец своих дней. Это будет хорошим шансом для Леонарда Фрэнкланда, ведь капитан наверняка расположит жителей Портдженны к их новому хозяину. Появившись среди корнуоллских арендаторов под крылом капитана Тревертона, Леонард скорее с ними поладит, если только воздержится от проявления фамильной гордости, унаследованной от отца. Он немного преувеличивает преимущества рождения и важность звания – но это единственный заметный недостаток его характера. Во всех остальных отношениях я могу честно сказать о нем: он заслуживает того, что получил, – лучшей жены в мире. Какая счастливая жизнь, Фиппен, похоже, ожидает этих молодых людей! Это смело, так говорить, но, сколько бы я ни смотрел, я не вижу ни единого облачка над их будущим.

– Ты добрая душа! – воскликнул мистер Фиппен, ласково сжав руку викария. – Как мне приятно слушать тебя! Как я наслаждаюсь твоим светлым взглядом на жизнь!

– Но это же правдивый взгляд – особенно в случае с молодым Фрэнкландом и его женой.

– По моему мнению, – сказал мистер Фиппен со скорбной улыбкой и философским спокойствием, – направление умозрительных взглядов человека зависит только от состояния его секрети. У тебя, дорогой друг, с желчью все в порядке, и ты придерживаешься светлых взглядов. Мои желчные выделения не в порядке, и я придерживаюсь мрачных взглядов. Ты смотришь на перспективы этой молодой супружеской пары и говоришь, что над ними нет ни облачка. Я не оспариваю это утверждение, не имея удовольствия знать ни невесту, ни жениха. Но я смотрю на небо над нашими головами – я помню, что на нем не было ни облачка, когда мы только вошли в сад, – а теперь вижу, как над этими двумя деревьями, растущими так близко друг к другу, неожиданно неизвестно откуда появилось облако, – и я делаю собственные выводы. Такова моя философия. Она может быть приправлена желчью, но при всем том это философия. – Мистер Фиппен направился к дому.

– Вся философия мира, – сказал викарий, поднимаясь вслед за своим гостем по ступенькам, – не поколеблет моей уверенности в том, что Леонарда Фрэнкланда и его жену ждет счастливое будущее.

Мистер Фиппен рассмеялся и, подождав на ступеньках, пока викарий присоединится к нему, самым дружеским образом взял доктора Ченнери за локоть.

– Ты рассказал очаровательную историю, Ченнери, и закончил ее своими очаровательными чувствами. Но, мой дорогой друг, хотя твой здоровый ум – под влиянием завидно лег-

кого пищеварения – презирует мою желчную философию, не забывай об облаке над двумя деревьями. Посмотри, оно становится все темнее и больше.

Глава III

Невеста и жених

В Сент-Свитинс-он-Си под мирной кровлей своей матушки-вдовы вела скромную и тихую жизнь мисс Моулэм. Весной тысяча восемьсот сорок четвертого года сердце старушки было обрадовано небольшим наследством. Подумав, как бы лучше использовать полученные деньги, рассудительная вдова решилась, наконец, вложить их в мебель, обставить первый и второй этажи своего дома в лучшем вкусе и повесить в окне гостиной объявление с сообщением о том, что у нее сдаются меблированные комнаты. К лету план был приведен во исполнение, и не прошло недели, как явился почтенный господин во всем черном, осмотрел комнаты, выразил свое удовлетворение их внешним видом и снял их на месяц для недавно поженившихся леди и джентльмена, которые должны были приехать через несколько дней. Достойный человек в черном был слугой капитана Тревертона, а леди и джентльмен, которые прибыли в назначенное время, были мистер и миссис Фрэнкленд.

Естественное любопытство, которое миссис Моулэм испытывала к своим первым постояльцам, было неизбежным, но оно не шло в сравнение с тем сентиментальным интересом, с которым ее дочь наблюдала за манерами и обычаями новобрачных леди и джентльмена. С той минуты, как мистер и миссис Фрэнкленд вошли в дом, она принялась изучать их с рвением, свойственным ученому, постигающему новую отрасль знаний. В каждый свободный момент дня эта трудолюбивая молодая леди занималась тем, что кралась вверх по лестнице, чтобы произвести наблюдения, и потом спешила к матери с собранными новостями. В конце первой недели, проведенной молодыми в доме миссис Моулэм, ее дочь могла бы написать семидневный дневник жизни мистера и мистрис Фрэнкленд с точностью и подробностью как у Самуэля Пипса.

Но чем более узнаешь, тем более встает новых вопросов. Открытия, сделанные мисс Моулэм в течение семи дней, повлекли ее к дальнейшим исследованиям. На восьмое утро, отнеся поднос с завтраком, неутомимая наблюдательница остановилась по своему обыкновению на лестнице, припала к замочной скважине и напрягла все свое внимание. Через минут пять она стремглав бросилась в кухню сообщить достопочтенной матушке о новом открытии, связанном с мистером и миссис Фрэнкленд.

– Как бы вы думали, что она сейчас делает? – воскликнула мисс Моулэм, вбежав в кухню, широко раскрыв глаза и высоко подняв руки.

– Ничего полезного, – ответила мать с саркастической улыбкой.

– Она сидит у него на коленях! Скажите, сидели вы когда-нибудь на коленях у отца?

– Конечно, нет. Когда я вышла замуж за твоего отца, мы не были такими взбалмошными.

– Она положила голову ему на плечо, – продолжала мисс Моулэм, все больше и больше волнуясь, – обняла его за шею, обеими руками, так крепко, как только можно.

– Я в это не поверю! – заявила в негодовании миссис Моулэм. – Как можно, чтоб такая богатая, образованная леди вела себя как какая-нибудь горничная со своим любовником. Не может быть! Не говори мне этого вздора, я не поверю!

Но то была сущая правда. В комнате стояли отличные кресла, набитые лучшим конским волосом, а еще великолепные книги. Миссис Фрэнкленд могла устроиться в весьма удобном кресле и услаждать свой ум чтением об археологии или богословскими истинами, или поэтическими красотами, но такова легкомысленность женской натуры: она не обращала внимания на эти духовные сокровища и предпочитала колени своего мужа мягким креслам.

Некоторое время она сидела в недостойной позе, которую мисс Моулэм с такой наглядной точностью описала матери, затем подняла голову и серьезно посмотрела в спокойное, задумчивое лицо слепого человека.

– Ленни, ты сегодня очень молчалив. О чем ты думаешь? Если ты мне расскажешь все свои мысли, я расскажу тебе свои.

– Ты действительно хочешь знать все мои мысли? – спросил Леонард.

– Да, все. Ты не должен скрывать от меня ничего. О чем ты теперь думаешь? Обо мне?

– Нет, не совсем о тебе.

– Тебе должно быть стыдно. Я тебе надоела за эти восемь дней? С тех пор как мы здесь, я только о тебе и думаю. Ты смеешься?! Ах, Ленни, я тебя так люблю! Могу ли я думать о ком-нибудь другом? Нет! Я не стану целовать тебя! Я хочу прежде знать, о чем ты думаешь.

– О сне, который видел прошлой ночью. С тех пор как я ослеп... Ты, кажется, не хотела целовать меня, пока я не расскажу, о чем думаю!

– Я не могу не целовать тебя, когда ты начинаешь говорить о своей слепоте. Скажи мне, Ленни, помогаю ли я восполнить эту потерю? Ты счастливее, чем был раньше? Возвращаю ли я тебе хоть долю прежнего счастья?

Говоря это, она повернула голову в сторону, и это движение не ускользнуло от Леонарда, он осторожно поднял руку и коснулся ее щеки.

– Ты плачешь, Розамонда.

– Я плачу! – ответила она внезапно веселым тоном. – Нет, мой друг, – продолжала она после паузы, – я не хочу обманывать тебя даже в таких пустяках. Мои глаза теперь служат нам обоим. Во всем, в чем не может помочь тебе осязание, ты зависишь от меня. Могу ли я обмануть тебя, Ленни? Да, я плакала, но недолго. Не знаю, как это случилось, но никогда в жизни я не жалела тебя и не сочувствовала тебе так, как в этот момент. Но продолжай, ты хотел что-то сказать, продолжай.

– Я хотел сказать, Розамонда, что с тех пор, как я потерял зрение, я заметил в себе одну любопытную вещь. Мне часто снятся сны, но я никогда не вижу себя слепым. Я часто посещаю во сне места, которые я видел, и людей, которых я знал, когда у меня было зрение, и, хотя в те моменты я чувствую себя настолько же самим собой, как и сейчас, когда я бодрствую, я ни в коем случае не чувствую себя слепым. Во сне я брожу по всем старым местам и никогда не должен нащупывать дорогу. Я разговариваю во сне со старыми друзьями и вижу на их лицах выражения, которые, проснувшись, я никогда больше не увижу. Я потерял зрение уже больше года назад, и все же прошлой ночью это вновь было для меня шоком – проснуться и внезапно вспомнить, что я слеп.

– Что ж ты видел во сне, Ленни?

– То место, где мы первый раз встретились, когда еще были детьми. Я видел поляну, какой она была много лет назад, с огромными скрученными корнями деревьев и кустами ежевики, извивающимися вокруг них, слабым светом дождливого дня, проникающим сквозь ветви деревьев. Я видел грязь на дорожке посреди поляны, кое-где со следами коровьих копыт, а кое-где с резкими колеями, по которым недавно пробирались с тачанками деревенские женщины. Я видел мутную воду, стекавшую по обе стороны тропинки после ливня; я видел тебя, Розамонда, непослушную девочку, всю в глине и мокрую – точно такую, какой ты была в тот день. Ярко-синюю накидку и руки ты перепачкала, делая плотину, чтобы остановить бегущую воду, и ты смеялась над негодованием своей няньки, когда она пыталась оттащить тебя и отвести домой. Я видел все это именно таким, каким оно было на самом деле в те далекие времена; но, как ни странно, я не видел себя тем мальчиком, которым был тогда. Ты была маленькой девочкой, а поляна была в прежнем запущенном состоянии, и все же, хотя все это было в прошлом, я был в настоящем. На протяжении всего сна я с тревогой осознавал себя взрослым мужчиной, короче говоря, точно таким же, как и сейчас, за исключением того, что я не был слепым.

– У тебя прекрасная память, Ленни, ты помнишь все мельчайшие подробности, хотя прошло уже столько лет. Как хорошо ты помнишь, каким я была ребенком. А помнишь ли ты,

какой я была, когда ты видел, – ах, Ленни, одна мысль об этом разрывает мое сердце! – когда ты видел меня в последний раз?

– Помню, хорошо помню! Мой последний взгляд на тебя оставил в моей памяти портрет, который никогда не изменится. У меня в голове много картин, но твой образ – самый ясный и яркий из всех.

– И это, конечно, лучший мой портрет, написанный в юности, когда лицо мое пылало любовью к тебе, хотя уста не произносили ни слова. В этой мысли есть некоторое утешение. Когда годы пронесутся над нами, и время начнет изменять меня, ты не скажешь себе: «Моя Розамонда начинает увядать; она все меньше и меньше похожа на ту девушку, какой была, когда я женился на ней». Я никогда не состарюсь для тебя, любимый! Мой молодой образ сохранится в твоём уме, когда голова моя покроется сединой и щеки морщинами.

– Да, всегда один и тот же прекрасный образ.

– Но уверен ли ты, что он достаточно ясен? Нет ли в нем сомнительных черт, незаконченных пятен? Я еще не изменилась с тех пор, как ты меня видел. Я осталась такой же, как была год назад. Если я спрошу, сможешь ли ты меня описать?

– Спрашивай.

– Хорошо. Первый вопрос: многим ли я ниже тебя?

– Ты мне по ухо.

– Совершенно верно. Теперь скажи, каковы мои волосы на твоём портрете?

– Темно-русые, очень густые, и, по мнению некоторых, они растут слишком низко на лбу.

– Не будем обращать внимания на «некоторых», разве ты такого же мнения?

– Конечно, нет. Мне это нравится. Мне нравятся завитки, которые очерчивают твой лоб. Мне нравится, когда они убраны назад, перевязаны лентой, так что видны уши и щеки. И больше всего мне нравится, когда они собраны в большой блестящий узел на затылке.

– Как же ты хорошо меня помнишь, Ленни! Дальше.

– Потом твои брови. На моем портрете брови очень красивой формы...

– Да, но в них есть недостаток. Скажи какой?

– Они не такие яркие, как могли бы быть.

– Правда. А глаза?

– Глаза! Карие глаза, большие глаза, живые глаза, которые всегда смотрят по сторонам. Глаза, которые могут быть очень нежными в одно время и очень строгими в другое. Глаза очень ясные, но способные в любой момент и при малейшем раздражении открыться так широко, и стать такими решительными.

– Смотри, как бы они не стали такими прямо сейчас. Дальше.

– Потом нос. Который немного непропорциональный и слегка...

– Не произноси это ужасное слово! Пощадите мои чувства, скажи по-французски. Скажите *retroussé*¹, и оставим его в покое.

– Теперь рот, и я должен сказать, что он настолько близок к совершенству, насколько это возможно. Губы прекрасны по форме, свежи по цвету и неотразимы по выражению. Они улыбаются на моем портрете, и я уверен, что они улыбаются мне сейчас.

– Могут ли они не улыбаться, когда их так хвалят? Тщеславие мое шепчет мне, что лучшего портрета я сама не составила бы. Но лучше на этом остановиться. Если я спрошу о цвете лица, то услышу только, что оно серовато, и что в нем никогда не бывает достаточно румянца, только если я бежала, или смущена, или сердита. Если я задам вопрос о своей фигуре, то получу ужасный ответ: «Опасно склонны к полноте». Если я спрошу: «Как я одеваюсь?» – ответ будет: «Недостаточно подобающе. Ты, как ребенок, любишь яркие цвета». Нет! Я больше не рискну задавать вопросы. Но, кроме тщеславия, Ленни, я так рада, так горда, так счастлива,

¹ Курносый (фр.).

что ты можешь сохранять мой образ в своем воображении. Теперь я буду стараться выглядеть и одеваться так, как ты запомнил меня в последний раз. Моя любовь! Ты заслуживаешь сто тысяч поцелуев, – заключила Розамонда, принимаясь целовать Леонарда.

Когда миссис Фрэнкленд награждала заслуги своего мужа, в углу комнаты послышался слабый, тоненький, вежливо-значительный кашель. Обернувшись в ту сторону с быстротой, свойственной всем ее действиям, Розамонда увидела мисс Моулэм, стоявшую в дверях с глупой сентиментальной улыбкой на устах.

– Как вы смели войти, не постучав в дверь! – воскликнула миссис Фрэнкленд, вскочив на ноги, в одно мгновение перейдя от ласки к негодованию.

Мисс Моулэм, пораженная сверкающим, гневным взором, который, казалось, пронзал ее насквозь, совершенно побледнела и с нерешительным видом протянула письмо, будто бы оправдывающее ее внезапное появление, промолвив самым смиренным голосом, что ей очень жаль.

– Жаль! – воскликнула Розамонда, еще более возмущенная этим оправданием. – Какое мне дело до ваших сожалений! Я никогда не была так оскорблена, никогда, любопытное вы создание!

– Розамонда, Розамонда, успокойся, – вмешался мистер Фрэнкленд спокойным голосом.

– Ленни, дорогой, я ничего не могу с собой поделать! Эта девица может вывести из себя святого. Она шпионит за нами с той минуты, как мы приехали сюда. Я ее и прежде подозревала и теперь убедилась. Нам нужно запирать двери? Я этого не хочу. Подайте счет. Мы предупреждаем вас. Мистер Фрэнкленд предупреждает вас, не так ли, Ленни? Я соберу все твои вещи, она не тронет ни одной из них. Спускайтесь, выписывайте счет и предупредите мать, что мы уезжаем. Положите письмо на стол, пока вы еще не распечатали его и не прочитали! Положите письмо и ступайте!

При этих словах мягкая, кроткая и услужливая от природы мисс Моулэм в отчаянии воздела руки к небу и залилась слезами.

– О боже милостивый! – запричитала она, обращаясь к потолку. – Что скажет мама! Что со мной будет! Ох, мэм, я, кажется, стучала. Точно стучала! Ох, мэм, моя мать вдова, мы в первый раз принимаем жильцов, и за эту мебель мы отдали все наши деньги! Ох, мэм, мэм, что ж мы будем делать, если вы уедете! – Тут истерические рыдания заглушили слова мисс Моулэм.

– Розамонда!

Теперь в голосе Леонарда слышалась не только печаль, но и строгость, не ускользнувшая от внимания жены. Она оглянулась на него, и выражение ее лица в одно мгновение изменилось. Она подошла и, приложив уста почти к самому его уху, прошептала:

– Ленни, ты сердись на меня?

– Я не могу на тебя сердиться, Розамонда, – ответил он прежним голосом, – но мне бы хотелось, мой друг, чтобы ты могла контролировать себя немного лучше.

– Прости. Прости, Ленни, – шептала Розамонда на ухо мужу, обняв его за шею. – Мне очень стыдно. Но, Ленни, такое могло рассердить хоть кого, не правда ли? Ты простишь меня; я обещаю тебе вести себя благоразумнее. Не обращай внимания на эту жалкую хнычущую дурочку, – прибавила Розамонда, взглянув на мисс Моулэм, которая неподвижно стояла у стены и рыдала, закрыв лицо платком. – Я помирюсь с ней, я утешу ее, я сделаю все на свете, если вы только простите меня.

– Два или три вежливых слова, и больше ничего не надо, – ответил Фрэнкленд довольно холодно и сдержанно.

– Перестаньте плакать, ради всего святого, – сказала Розамонда, подойдя к мисс Моулэм и без лишних церемоний отняв от лица ее платок. – Не плачьте. Я была рассержена, мне очень жаль, что я так поступила с вами, но вы не должны были входить не постучав. Я вам никогда не скажу грубого слова, если вы впредь будете стучать в дверь и перестанете плакать. Перестань

плакать, утомительное создание! Мы не уедем отсюда. Вот возьмите мою ленту в подарок. Она же вам нравится, я видела, как вы примеряли ее вчера днем, когда я лежала на софе, и вы думали, что я сплю. Ничего страшного, я не сержусь. Возьмите же эту ленту и успокойтесь. Дайте же мне вашу руку, и будем друзьями.

С этими словами миссис Фрэнкленд отворила и, под видом похлопывания по плечу, добродушно подтолкнула изумленную и смущенную мисс Моулэм в коридор, закрыв за ней дверь, она вновь заняла свое место на коленях мужа.

– Я помирилась с ней, Ленни. Я отдала ей свою ярко-зеленую ленту. Хотя этот цвет ей совсем не к лицу, она становится желтой, уродливой, как... – Розамонда остановилась и с тревогой посмотрела в лицо мужу. – Ленни, ты все еще сердишься на меня!

– Любовь моя, я никогда не сердился на тебя. И никогда не смогу.

– Я обещаю держать себя в руках, Ленни!

– Я в этом уверен. Сейчас я думаю не о твоём характере.

– О чем же?

– Об извинениях, которые ты принесла мисс Моулэм.

– Разве их было недостаточно? Если хочешь, я позову ее, произнесу еще одну покаянную речь, сделаю все что угодно, только не проси меня ее целовать. Я никого не могу целовать, кроме тебя.

– Моя милая, какое ты дитя в некоторых поступках! Ты сказала более, чем нужно было. И ты извини, что я делаю замечание, но ты увлеклась своим великодушием и добротой и забылась. И я не о том, что ты отдала ей ленту – хотя, возможно, это можно было бы сделать менее фамильярно, – но о том, что ты взяла ее за руку.

– Что ж тут дурного? Я полагала, что это лучшее средство помириться.

– Да, между равными. Но подумай о разнице между твоим положением в обществе и положением мисс Моулэм.

– Хорошо, я подумаю об этом, если ты так хочешь, Ленни. Но мне кажется, я похожа на своего отца, который никогда не беспокоится о разнице в положении. Я не могу не любить людей, которые добры ко мне, не могу размышлять, выше они меня по положению или ниже; и когда я остыла, должна признаться, я корила себя за то, что напугала и огорчила эту невезучую мисс Моулэм, как если бы ее положение было равно моему. Я постараюсь думать так же, как ты, Ленни, но очень боюсь, что я, сама не зная как, стала тем, кого газеты называют радикалом.

– Милая Розамонда, не говори о себе такого, даже шутя. От различия в рангах зависит благосостояние общества.

– Правда? И все же, дорогой, мне кажется, что между нами не так уж много различий. У нас всех одинаковое число рук и ног, мы все одинаково хотим есть или пить, страдаем от жары летом и от холода зимой, смеемся, когда мы счастливы, и плачем, когда несчастливы, и, конечно, у нас у всех одинаковые чувства, независимо от того, как высоко мы или низко в обществе. Я не могу любить тебя больше, чем сейчас, будь я герцогиней, или меньше, чем сейчас, будь я служанкой.

– Любовь моя, ты не служанка и позволь мне напомнить, что ты не настолько ниже герцогини, как тебе кажется. Немногие дамы могут насчитать столько предков, как мы. Фамилия твоего отца одна из древнейших в Англии; даже фамилия моего отца не такая древняя, а мы были знатными людьми уже в то время, когда в списке лордов не было еще многих имен. Смешно, мой друг, слышать, как ты называешь себя радикалом.

– Я больше не буду так о себе говорить, Ленни, только оставь этот серьезный вид. Я сделаюсь консерватором, если ты поцелуешь меня и позволишь посидеть у тебя на коленях.

Серьезность мистера Фрэнкланда не устояла против изменения политических принципов жены и предложенных ей условий. Лицо его прояснилось, и он рассмеялся почти так же весело, как и сама Розамонда.

– Кстати, – произнес он после небольшой паузы, собравшись с мыслями, – ты, кажется, приказала мисс Моулэм положить на стол какое-то письмо. Кому оно?

– Ах, я о нем совсем забыла. – Розамонда подошла к столу. – Это тебе, Ленни, из Портдженны.

– Должно быть, от архитектора, которого я послал переделывать старый дом. Одолжи мне свои глаза, милая, узнаем, что расскажет письмо.

Розамонда распечатала письмо, села на табурет рядом с креслом мужа, и, положив руки ему на колени, стала читать:

Леонарду Фрэнкланду, эсквайру.

Сэр, в соответствии с инструкциями, которые я имел честь получить от вас, я приступил к обследованию Портдженнской Башни, чтобы выяснить, в каком ремонте может нуждаться дом в целом и его северная часть в частности.

Что касается внешних стен, то здание нуждается лишь в небольшой чистке и новой отделке. Стены и фундамент, кажется, будут стоять вечно. Такой прочной, надежной работы я еще никогда не видел.

Относительно внутренности дома я не могу сказать ничего хорошего. Комнаты в западной части, в которых жили во время пребывания капитана Тревертона и за которыми хорошо ухаживали после, находятся в достаточно хорошем состоянии. Я думаю, что двухсот фунтов будет достаточно, чтобы привести их в совершенный порядок. В эту сумму не входит восстановление западной лестницы, которая в некоторых местах немного покосилась, и перила которой явно ненадежны. Двадцати пяти – тридцати фунтов будет достаточно, чтобы привести ее в порядок.

Северные комнаты находятся в самом жалком состоянии, от основания до самой крыши. Мне рассказывали, что во время капитана Тревертона их не только не открывали, но даже никто к ним не приближался. Люди, которые сейчас следят за домом, с суеверным страхом открывают любую из северных дверей, потому что через них не проходило ни одно живое существо. Никто не вызвался сопроводить меня, и никто не мог сказать, какие ключи подходят к каким дверям. Я не смог найти ни одного плана с названиями или номерами комнат, и, к моему удивлению, не было никаких ярлыков, прикрепленных к ключам. Мне дали их все вместе на большом кольце с ярлыком из слоновой кости, на котором было написано: «Ключи от северных комнат».

Я осмелился изложить все эти подробности, так как они объясняют, почему я задержался в Портдженнской Башне. Я потерял почти целый день, снимая ключи с кольца и подбирая их к нужным дверям. И еще несколько часов другого дня я потратил на то, чтобы пометить каждую дверь номером снаружи и прикрепить соответствующий ярлык к каждому ключу, чтобы предотвратить возможность будущих ошибок и задержек.

Поскольку я надеюсь через несколько дней представить вам подробную смету ремонтных работ, необходимых в северной части дома, от подвала до крыши, мне остается только сказать, что они займут некоторое время и будут носить самый обширный характер. Балки лестницы и пол первого этажа поражены сухой гнилью. Сырость в одних комнатах и крысы в других почти уничтожили обшивку стен. Четыре камина отвалились от стен, а все потолки либо покрыты пятнами, либо потрескались, либо отслоились большими участками. Полы в лучшем состоянии, чем я ожидал. Но ставни и оконные створки настолько деформированы, что они бесполезны.

Расходы на то, чтобы сделать комнаты безопасными и пригодными для жилья, будут значительными. Я бы с уважением предложил вам, если вы почувствуете удивление или недо-

влетворение по поводу суммы сметы, назвать друга, которому вы доверяете, чтобы он вместе со мной осмотрел северные комнаты, держа смету в руках. Я обязуюсь доказать, если потребуется, необходимость каждой отдельной работы и справедливость каждой платы.

Рассчитываю выслать вам смету через несколько дней.

Ваши покорный слуга,

Томас Хорлок

– Честное, прямолинейное письмо, – сказал мистер Фрэнкленд.

– Мне бы хотелось, чтобы он уже прислал смету, – заметила Розамонда. – И почему он сразу не написал, во сколько на самом деле обойдется ремонт?

– Я думаю, моя дорогая, что он боялся шокировать нас.

– Эти ужасные деньги! Они всегда мешают и нарушают планы. Если у нас не хватает денег, то ведь можно занять. Кого ты пошлешь в Портдженну осматривать комнаты вместе с Хорлоком? Постой, я знаю кого!

– Кого?

– Меня. В твоём сопровождении, если захочешь. Что ж ты смеешься? Я бы осмотрела все, торговалась бы с мистером Хорлоком без милосердия. Мне один раз случилось видеть, как осматривали дом, и я знаю, что нужно делать. Топаешь по полу, стучишь по стенам, скребешь по кирпичной кладке, заглядываешь во все дымоходы и окна и иногда делаешь записи в книжечке, измеряешь что-то длинной линейкой, иногда замираешь, задумавшись, и в конце концов говоришь, что дом будет великолепен, если арендатор достанет свой кошелек и приведет его в порядок.

– Ну ты даешь, Розамонда. У тебя на одну способность больше, чем я думал. Полагаю, теперь у меня нет другого выбора, кроме как дать тебе возможность ее продемонстрировать. Если ты не против короткого визита в Портдженну. Я рад был узнать, что западные комнаты все еще пригодны для жилья.

– Как ты добр, Ленни! – в восторге воскликнула мистрис Фрэнкленд. – Я уехала отсюда пятилетним ребенком, и мне очень хочется опять посмотреть на старый дом. Интересно, что я смогу вспомнить после столь долгого отсутствия. Знаешь ли, я никогда не видела разрушенной северной части, а я так люблю старые комнаты! Осмотрим их вместе. Ты будешь держать меня за руку, смотреть моими глазами и делать столько же открытий, сколько и я. Уверена, мы увидим призраков, найдем сокровища, услышим таинственные звуки – и, о небеса, через какие облака пыли нам придется пройти.

– Раз уж мы заговорили о Портдженне, давай хоть на минуту станем серьезными. Очевидно, ремонт северных комнат будет стоить нам очень дорого. Но, мой ангел, ты знаешь, что я не пожалел бы никакой суммы, чтобы доставить тебе удовольствие. Ты знаешь, что я во всем согласен с тобою...

Мистер Фрэнкленд сделал паузу. Ласковые руки жены снова обвили его шею, и ее щека нежно прижалась к его щеке.

– Продолжай, Ленни, – проговорила Розамонда с такой нежностью, что мужу захотелось слышать снова и снова эти простые слова.

– Розамонда, – прошептал он, – ни одна музыка в мире не трогает меня так, как твой голос! Я чувствую его всем телом, как иногда чувствовал небо ночью, когда мог видеть.

Пока он говорил, ласковые руки еще крепче обхватили его шею, а пыльные губы нежно заняли место, которое раньше занимала щека.

– Продолжай, Ленни, – повторила она с радостью и нежностью. – Ты сказал, что во всем согласен со мной. Но в чем?

– Ты хотела, чтобы твой отец, возвратившись из плавания, отказался от службы и поселился у нас. Если деньги, потраченные на восстановление северных комнат, действительно настолько изменят облик этого места в его глазах, чтобы рассеять его старые печальные вос-

поминания, и сделать его жизнь там снова удовольствием, а не мучением, я буду считать, что они потрачены не зря. Но, Розамонда, уверена ли ты в успехе своего плана? Говорила ли ты о нем своему отцу?

– Да, Ленни, я сказала ему, что никогда не буду спокойна до тех пор, пока он не оставит своего корабля и не станет жить с нами, и он согласился. Я ни слова не говорила о Портдженне – и он тоже; но он знает, что мы решили жить там, и согласился, и не ставил никаких условий, когда обещал, что наш дом станет его домом.

– Неужели потеря жены – это единственная – и печальная – ассоциация, связанная у него с этим местом?

– Есть еще кое-что. Мы об этом никогда не говорили, но ведь между нами нет секретов. У моей матери была любимая горничная, которая жила с ней со времени ее замужества и которая случайно оказалась единственным человеком, присутствовавшим в ее комнате, когда она умерла. Я помню, что слышала об этой женщине, что она была странной по своему виду и манерам и не пользовалась большой любовью ни у кого, кроме своей хозяйки. Так вот, в утро смерти матери она исчезла из дома самым странным образом, оставив после себя необычное и загадочное письмо, адресованное моему отцу. В нем утверждалось, что в предсмертные минуты мать доверила ей секрет, который горничная должна была рассказать своему хозяину, когда ее хозяйки больше не будет. Но она боялась упоминать об этом секрете и, чтобы избежать расспросов, решила навсегда покинуть дом. Когда письмо было вскрыто, ее уже несколько часов не было в доме, и с тех пор ее никто не видел и не слышал о ней. Это обстоятельство, казалось, произвело на моего отца почти такое же сильное впечатление, как и потрясение от смерти матери. Наши соседи и слуги думали – как и я думаю, – что женщина сошла с ума. Но отец никогда не соглашался с ними, и я знаю, что он не уничтожил и не забыл ее письмо.

– Странное, очень странное происшествие. Я не удивляюсь, что оно произвело на него неизгладимое впечатление.

– Не сомневайся, Ленни, слуги и соседи были правы: женщина была сумасшедшей. Но как бы то ни было, это необычное событие произошло в нашей семье. У всех старых домов есть своя история, и это история нашего дома. Но с тех пор прошли годы и годы, и, учитывая время и перемены, которые мы собираемся произвести, я не боюсь, что мой дорогой отец испортит наши планы. Мы отведем отцу новые комнаты в северной половине; северный сад будет служить ему палубой. Впрочем, все это дело будущего; обратимся лучше к настоящему. Скажи мне, когда мы поедем в Портдженну осматривать дом?

– Здесь мы останемся еще на три недели.

– А после поедем обратно в Лонг-Бекли. Я обещала викарию, что его мы навестим первым, и он наверняка не отпустит нас раньше, чем через три – четыре недели.

– В таком случае через два месяца будем в Портдженне. Есть у тебя здесь бумага и чернила?

– Да, стоят на столе.

– Так напиши мистеру Хорлоку, что через два месяца мы встретимся с ним в старом доме. Скажи ему, чтобы он занялся западной лестницей и перилами. И напиши заодно экономке, чтобы она знала, когда нас ожидать.

Радостная Розамонда села к столу и начала писать письма.

– Через два месяца мы будем в Портдженне; я опять увижу этот почтенный старый дом! – воскликнула она. – Через два месяца, Ленни, мы отворим таинственные северные комнаты!

Книга III

Глава I Тимон Лондонский

Тимон Афинский² удалился от неблагодарного света в пещеру на морском берегу. Тимон Лондонский искал уединения в Бейсуотере. Тимон Афинский изливал свои чувства в величественных стихах, Тимон Лондонский выражал их в убогой прозе. Тимон Афинский имел честь именоваться милордом; Тимона Лондонского звали попросту мистером Тревертоном. Единственное сходство заключалось в том, что их мизантропия была подлинной. Оба были неисправимыми человеконенавистниками.

С самого детства в характере Эндрю Тревертона видно было сочетание многих хороших и дурных наклонностей, противоречащих друг другу и делавших из этого человека того, кого обыкновенно в свете называют эксцентриком. С первого шага в жизнь он был наказан за свою необычность. В детстве он был феноменом, в школе – мишенью для насмешек, а в колледже – жертвой. Невежественная нянька называла его странным ребенком; образованный школьный учитель изящно описал его как чудаковатого мальчика; а наставник в колледже шутливо сравнивал его голову с крышей, которая ехала, тихо шурша шифером.

В одних случаях его не замечали, в других – направляли по ложному пути, пока способности Эндрю к добру беспомощно пытались проявить себя. Лучшая сторона его эксцентричности проявлялась в виде дружбы. В школе, например, он питал неодолимую и совершенно необъяснимую привязанность к одному из товарищей, который не проявлял к нему особого внимания на игровой площадке и не оказывал ему особой помощи в классе. Никто не мог найти ни малейшего объяснения общеизвестному факту, что карманные деньги Эндрю всегда были в распоряжении этого мальчика, что Эндрю бегал за ним, как собачонка, и что Эндрю снова и снова взваливал на свои плечи вину и наказания, которые должны были лечь на плечи его друга. Когда этот друг поступил в колледж, Эндрю Тревертон попросил, чтобы и его отправили в тот же колледж, и еще более привязался к товарищу детства. Такая преданность должна была тронуть любого человека, обладающего обычной щедростью нрава. Но она не произвела никакого впечатления на низменную натуру друга Эндрю. После трех лет общения в колледже – общения, в котором, с одной стороны, был сплошной эгоизм, а с другой, сплошное самопожертвование, – наступил конец. Когда кошелек Эндрю оскудел в руках друга, счета которого он оплачивал, этот друг посмеялся и бросил его, не сказав ни слова на прощанье.

Тревертон, потеряв все в самом начале жизни, вернулся в дом отца. Вернулся, чтоб слушать упреки за долги, которые он наделал, желая угодить человеку, который бессердечно и бессовестно его обманул. Потому он с позором покинул дом, чтобы путешествовать на небольшое пособие. Путешествие затянулось, и закончилось оно, как это часто бывает, эмиграцией. Жизнь, которую он вел, компания, в которой он вращался во время своего длительного пребывания за границей, нанесли ему фатальный вред. Когда он наконец вернулся в Англию, то находился в самом безнадежном из всех состояний – он был человеком, который ни во что не верит. В то время единственная его надежда была на брата. Но едва они успели возобновить общение, как ссора, вызванная женитьбой капитана Тревертона, оборвала его навсегда. С того времени Эндрю Тревертон был потерян для света. С тех пор он неизменно повторял одну и

² Герой одноименной пьесы Шекспира об афинском мизантропе Тимоне, о котором упоминает Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях». Испытывая нужду, Тимон обратился к друзьям за помощью, получил отказ и возненавидел не только их, но и весь род людской.

ту же горькую и безнадежную речь: «Мой самый дорогой друг оставил и обманул меня. Мой единственный брат поссорился со мной из-за актрисы. Чего же мне после этого ожидать от остального человечества? Я дважды страдал за свою веру в других и никогда не буду страдать в третий раз. Мудрый человек не мешает своему сердцу заниматься его естественным делом – перекачивать кровь по телу. Я накопил свой опыт за границей и дома и узнал достаточно, чтобы видеть сквозь иллюзии, которые выглядят как реальность в глазах других людей. Мое дело в этом мире – есть, пить, спать и умереть. Все остальное – излишества, и я с ними покончил».

Немногие лица, интересовавшиеся его судьбой после того, как он всех оттолкнул от себя подобными речами, узнали спустя три или четыре года после женитьбы его брата, что Эндрю живет в окрестностях Бейсуотера. Местные жители рассказывали, что он купил первый попавшийся коттедж, отгороженный от других домов стеной по всему периметру. Ходили также слухи, что он живет как скряга; что он нанял старика-слугу по имени Шроул, который был еще большим ненавистником человечества, чем сам Эндрю; что он не позволял ни одной живой душе входить в дом; что он отращивал бороду и приказал своему слуге Шроулу следовать его примеру. В тысяча восемьсот сорок четвертом году просвещенное английское общество видело в бороде признак помешательства. Борода мистера Тревертона могла только испортить его репутацию респектабельного человека. Но в то же время, как мог засвидетельствовать его маклер, он был одним из самых остроумных бизнесменов в Лондоне; он мог аргументировать свою точку зрения на любой вопрос с такой остротой софистики и сарказма, которой мог бы позавидовать сам Самуэль Джонсон; он вел свои домашние счета с точностью до фартинга. Но в глазах его соседей это ничего не значило, ведь он носил волосатое свидетельство сумасшествия на лице. За прошедшие семнадцать лет мы немного продвинулись в вопросе терпимости к бородам, но нам еще предстоит преодолеть немалый путь. В нынешний год прогресса, тысяча восемьсот шестьдесят первый, будет ли самый надежный банковский клерк иметь хоть малейший шанс сохранить свое положение, если он перестанет брить подбородок?

Общее мнение о помешательстве мистера Тревертона было так же неосновательно, как и рассказы о его скупости. Он откладывал более двух третей дохода, не потому, что ему нравилось копить, а потому, что он не испытывал никакого удовольствия от комфорта и роскоши, на которые тратятся деньги. Надо отдать ему должное, его презрение к собственному богатству было столь же искренним, как и презрение к богатству соседей. Но в рассказах о нем была доля правды: он действительно купил первый попавшийся коттедж, уединенный и огороженный; действительно никому не разрешалось входить в этот дом, и правда, что он нанял слугу: еще более озлобленного против всего человечества, чем он сам, мистера Шроула.

Жизнь, которую вели эти двое, была настолько близка к существованию первобытного человека – или дикаря, – насколько это позволяли окружающие условия цивилизации. Признавая необходимость пить и есть, мистер Тревертон старался в этом отношении как можно менее зависеть от других людей, а потому они сами разводили зелень в огороде за домом, сами варили пиво, пекли хлеб, закупали большие запасы говядины и солили ее, чтобы как можно реже ходить на рынок.

Питаясь как первобытные люди, они и во всем остальном жили как первобытные люди. У них были кастрюли, сковородки и миски, два стола, два стула, два старых дивана, две короткие трубки и два длинных плаща. У них не было установленного времени приема пищи, ковров и кроватей, одежных или книжных шкафов, декоративных безделушек любого рода, прачки и кухарки. Когда кто-то из них хотел есть и пить, он отрезал свою корку хлеба, готовил свой кусок мяса, выпивал свою кружку пива, не обращая ни малейшего внимания на другого. Когда кто-то из них решал, что ему нужна чистая рубашка, что случалось крайне редко, он шел и стирал ее сам. Когда кто-нибудь из них обнаруживал, что в доме стало очень грязно, он брал ведро воды и березовый веник и вымывал дом, как собачью конуру. И, наконец, когда кто-то

из них хотел спать, он закутывался в плащ, ложился на один из диванов и отдыхал, когда ему было угодно, рано вечером или поздно утром.

Если не нужно было печь, варить, сажать или убирать, они садились друг напротив друга и часами курили, обычно не произнося ни слова. Когда же они все-таки говорили, то ссорились. Шроул чаще одерживал победу в этих языковых поединках. И хотя номинально он был слугой, на самом деле он был правящим духом в доме, приобретя неограниченное влияние на своего хозяина благодаря тому, что во всем его опережал: у Шроула был самый суровый голос; у Шроула были самые едкие замечания; у Шроула была самая длинная борода. Самое верное из всех возмездий – это возмездие, которое подстерегает человека, который хвастается. Мистер Тревертон имел неосторожность похвастаться своей независимостью, и когда возмездие настигло его, оно приняло человеческую форму и носило имя Шроул.

В одно утро, примерно через три недели после того, как миссис Фрэнкленд написала экономке и сообщила, в какое время ожидать ее и мужа в Портдженнской Башне, мистер Тревертон с самым суровым видом спустился с верхнего этажа коттеджа в одну из комнат на первом этаже, которую цивилизованные жильцы, вероятно, назвали бы гостиной. Подобно старшему брату он был высок ростом и хорошо сложен, но его угловатое суровое лицо не имело ни малейшего сходства с прекрасным, открытым, загорелым лицом капитана. Никто, увидев их вместе, не подумал бы, что они братья: так сильно они отличались как по выражению лиц, так и по чертам. Сердечные страдания, перенесенные в юности, бесшабашная бродячая жизнь, мелочность и разочарования так истощили Эндрю, что он казался старше брата по крайней мере на двадцать лет. С нечесаными волосами, неумытым лицом и седой бородой, в заплатанном и запачканном байковом сюртуке, который висел на нем, как мешок, этот потомок богатой древней фамилии казался человеком, родившимся в рабочем доме и проводившим всю жизнь на какой-нибудь фабрике.

Было время завтрака, то есть мистер Тревертон чувствовал голод и думал о том, чтобы что-то съесть. Над камином, в том месте, где в приличном доме висел бы зеркало, в жилище Тимона Лондонского висело окорок. В углу комнаты стоял бочонок с пивом, и над ним на гвоздях висели две оловянные кружки; на столе лежала половина буханки бурого хлеба. Мистер Тревертон вынул из кармана складной нож, отрезал ломоть окорока и начал его жарить в камине. Тут отворилась дверь, и вошел Шроул с трубкой во рту, планирующий заняться тем же делом, что и его хозяин.

Шроул был невысокого роста, толстый, дряблый и совершенно лысый, за исключением затылка, где кольцо щетинистых серых волос торчало, словно сбившийся с места воротник. Чтобы компенсировать скудость волос, борода, которую он отрастил по желанию хозяина, разрослась и опускалась на грудь двумя широкими пиками. На нем было очень старое длиннополое пальто, которое он купил по дешевке, выцветшая желтая рубашка с большой рваной оборкой, бархатные брюки, засученные до лодыжек, и сапоги, которые не чистили с того дня, как они покинули сапожную мастерскую. Цвет его кожи был нездорово ярким, толстые губы кривились в злобной ухмылке, а глаза по форме и выражению максимально походили на глаза бультерьера. Художник, пожелавший выразить силу, наглость, уродство, грубость и хитрость в лице и фигуре одного и того же человека, не нашел бы лучшей модели для этой цели, чем мистер Шроул.

Ни хозяин, ни слуга при первой встрече не обменялись ни словом и не обратили друг на друга ни малейшего внимания. Шроул стоял в задумчивости, засунув руки в карманы, и ждал своей очереди у камина. Мистер Тревертон закончил готовить, отнес бекон на стол и, отрезав корочку хлеба, принялся за завтрак. Расправившись с первым куском, он снисходительно взглянул на Шроула, который в эту минуту приближался к окороку, держа открытый нож в руке.

– Что это значит? – спросил мистер Тревертон с негодованием, указав на грудь Шроула. – Животное, на тебе чистая рубашка!

– Покорно благодарю, что заметили, – ответил Шроул саркастическим тоном. – Я не мог поступить иначе, чем надеть чистую рубашку, когда у моего хозяина день рождения. Может быть, вы думали, что я забуду, что сегодня ваш день рождения? Я бы ни за что не забыл. А сколько вам лет, сэр? Как давно в этот день вы были хорошеньким, чистеньким, полненьким мальчиком, которого целовали папа, мама, дяди и тети, и которому они дарили подарки? Не бойтесь, что я изношу эту рубашку слишком частой стиркой. Я думал убрать ее в сундук с лавандой до вашего следующего дня рождения или до похорон – что так же вероятно в вашем возрасте.

– Не заботься о чистоте рубашки на мои похороны, я не оставил тебе денег в завещании, Шроул. Ты будешь на пути в рабочий дом, когда я буду на пути в могилу.

– Вы наконец-то составили завещание? Извините, сэр, но мне казалось, вы боялись это делать.

Слуга, очевидно, намеренно затронул одну из болячек для хозяина тем. Мистер Тревертон положил недоеденный кусок хлеба на стол и гневно посмотрел на Шроула.

– Боюсь писать завещание? Ты дурак. Я не пишу завещания, и из принципа не буду писать.

Шроул отрезал кусок окорока и принялся насвистывать мелодию.

– Из принципа, – повторял мистер Тревертон. – Богачи, оставляющие другим деньги, только поощряют людские пороки. Если в человеке есть хоть искра щедрости, и вы хотите погасить ее, оставьте ему наследство. Когда человек плох, если вы хотите сделать его еще хуже, оставьте ему наследство. Если вы хотите собрать вместе несколько человек с целью увековечить коррупцию и угнетение, завещайте свое богатство благотворительному учреждению. Если вы хотите дать женщине лучший в мире шанс получить плохого мужа, оставьте ей наследство. Писать завещание! При всей своей ненависти к людям, Шроул, я не хочу быть причиной такого зла.

Окончив тираду, мистер Тревертон пошел в угол комнаты и налил кружку пива. Шроул поднес окорок к огню и саркастически усмехнулся.

– Кому, черт возьми, ты хочешь, чтобы я оставил свои деньги? – воскликнул мистер Тревертон. – Брату, который считает меня скотиной сейчас, который считал бы меня дураком тогда, и который, так или иначе, поощрял бы мошенничество, проматывая мои деньги? Ребенку той бабы-актрисы, которого я никогда не видел, которого воспитали в ненависти ко мне, и который ради приличия будет делать вид, что сожалеет о моей смерти? Или тебе, обезьяна? Тебе, который создал бы ростовщическую контору и обманывал бы вдов, безотцовщин и вообще всех несчастных по всему миру? Мое нижайшее почтение, мистер Шроул! Я могу смеяться не хуже вас – особенно когда знаю, что не оставлю вам и шести пенсов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.